

МАРАТ ШУКДИН

ЛИГА



ВОЛЬНЫХ ИГРОКОВ

Марат Шукдин

**Лига Вольных
Игроков (2 редакция)**

«Автор»

2026

Шукдин М.

Лига Вольных Игроков (2 редакция) / М. Шукдин — «Автор»,
2026

Три отсрочки. Больше Лига не даёт никому. В королевстве, где дуэли запрещены, есть одно место, где убийство законно: Лига Вольных Игроков. Вступают в неё в таверне без вывески. Выходят так, как выносят. Граф Плеси знает это лучше многих. Утром, когда в доме пахнет розами и лавандой, а жена кладёт его ладонь себе на живот, в дверь стучат в четвёртый раз. Так пахнет счастье за минуту до конверта. Дальше будет человек, которого научили убивать и не научили жить потом. Женщина, которая не умеет ни стрелять, ни драться, а умеет одно: встать между. Лес, который помнит всё, и море, которое не помнит ничего. Здесь дерутся на шпагах, торгуются с ростовщиками и считают хлеб в темноте. Но главный поединок идёт между тем, что положено, и тем, чего хочется до дрожи в коленях. Право определяет сильнейшего.

© Шукдин М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Лютеция, жемчужина Сенарис	5
Глава 2. Дорога в Изабеллу	10
Глава 3. Арбалет	14
Глава 4. Крах надежд	19
Глава 5. Первая охота	26
Из книги Лиги	30
Глава 6. Игра по-крупному	31
Глава 7. Главный канцлер	34
Глава 8. Тень Короля	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Марат Шукдин

Лига Вольных Игроков (2 редакция)

Глава 1. Лютеция, жемчужина Сенарис

Рудольф. День первый из четырнадцати

Стук в дверь был резким и требовательным, как удар хлыста по голой спине.

— Курьер, ваше сиятельство, — доложил из-за двери Бернар, мой дворецкий, старый пёс с вечно постной физиономией и интонациями могильщика. — С пакетом от Лиги Вольных Игроков.

Лига. Снова. Я не выругался вслух только потому, что Бернар стоял за дверью и слышал бы.

Я узнал бы этот стук из тысячи. Так не стучат ни кредиторы, ни поклонники жены, ни посыльные от портного. Так стучит только Бернар, когда за его спиной стоит человек с конвертом, и стучит он так, я знаю, потому что сам боится этого конверта не меньше моего. Три раза он уже стоял под этой дверью с этими же словами. Три раза я говорил ему: «Скажи, что граф просит отсрочки». Первый раз я был пьян и рассмеялся курьеру в лицо. Второй раз пришёл на неделю после свадьбы, и я съёл конверт в камине, не распечатав, а Анжелика смотрела на огонь и ничего не спросила. Третий конверт она принесла мне сама, на подносе, вместе с утренним кофе, и её руки не дрожали. Три отсрочки. Больше Лига не даёт никому.

Ещё минуту назад в этой спальне не было ничего, кроме утра.

Город Лютеция за ставнями умылся росой и солнцем. Горланили торговки, зазывая покупателей; скрипели колёса телег, гружённых капустой и бочками; с реки тянуло сыростью и тиной, а от пекарни на углу — тёплым хлебом, и эти два запаха, как всегда в Лютеции, мешались, не смешиваясь. Где-то вдалеке надрывно, словно предвещая беду, выл пёс. Столица Аквиларии, город контрастов, где роскошь дворцов, отражавшихся в мутных водах Сенарис, соседствует с убожеством грязных извилистых улочек, пропитанных запахами нечистот и дешёвого вина. Утром Лютеция всегда притворяется невинной. К полудню она вспомнит, кто она такая.

Но наш особняк, доставшийся мне по наследству, стоял особняком, в прямом и переносном смысле. Он утопал в зелени старого сада, где буйствовали розы всех оттенков, от нежно-кремовых до кроваво-бордовых. Их посадила ещё моя мать, которой я не помню, и садовник, служивший ей, до сих пор разговаривает с кустами, как со старыми знакомыми. Этот густой, обволакивающий аромат проникал даже сквозь закрытые ставни, смешиваясь с запахом лаванды, которой Анжелика набивала подушечки для белья. Лаванда и розы. Если бы меня спросили, чем пахнет счастье, я бы не задумываясь ответил: вот этим.

И была Анжелика.

Её обнажённое тело, алебастровая статуэтка, оживлённая не то шаловливым божком, не то самим дьяволом, метнулось влево, силясь ускользнуть из-под моего взгляда, спрятаться за тяжёлой, расшитой золотыми нитями занавесью полога. Знакомая игра, до боли в висках и замирания где-то под ложечкой. Она придумала её в первую неделю после свадьбы, когда я, проснувшись, потянулся к ней, а она выскользнула из-под руки, как рыба, и рассмеялась с другого конца комнаты. С тех пор игра повторялась не каждое утро, а только в те, когда ей было хорошо. Я научился считать по ней дни, как крестьянин по солнцу.

— Не поймашь, — донеслось до меня, и в голосе Анжелики, в этом чистом серебряном перезвоне, я уловил, помимо озорства, ещё и вызов. И, пожалуй, лёгкую тень беспокойства. А может, мне просто хотелось так думать. — Всё равно не поймашь!

Смех её, звонкий и беззаботный, рассыпался по залитой солнцем спальне, как горох по полированному паркету.

Я не спешил. Не преследовал, нет. Просто любовался. Каждое движение, каждый изгиб, каждый отблеск утреннего солнца на её коже казались мне совершенными. Анжелика была из тех женщин, про которых говорят «вся хороша», и это «вся» не вмещает в себя ровным счётом ничего определённого. Потому что определённость — это пошлость. Это когда ты можешь разложить всё по полочкам: вот глаза цвета грозового неба над Сенарис, вот губы, влажные и призывные, как переспелая вишня, вот грудь, упругие холмы, так и просящиеся в ладони. Но к чему эти сравнения? По отдельности — да, красиво. А вместе Анжелика была целым, неделимым, и перечислять её достоинства было так же бессмысленно, как пересчитывать капли утренней росы на лепестках роз.

— Не поймашь.

В голосе поубавилось бывшего задора, и я, словно опытный охотник, учуявший слабинку добычи, почти физически ощутил, как в её хорошенькой головке, увенчанной копной тёмных, пахнущих чем-то неуловимо женским волос, зреет единственно верное решение. Пора сдаваться.

Я помог ей. Одним прыжком — годы тренировок не прошли даром, даже столичная расслабленность и обильные возлияния не смогли вытравить из меня охотничьего чутья — я пересёк комнату и оказался рядом. Сгрёб её в охапку, приподнял, лёгкую, словно пёрышко, и в то же время такую настоящую, осязаемую, тёплую. Закружил, вдыхая её приглушённый смех, а затем бережно, словно боясь сломать, опустил на перину, заваленную ворохом подушек и сбитых простыней. Боги, как же я любил эту женщину! Впрочем, про «боги» это я, пожалуй, загнул, после того как Главный канцлер со своим Священным Синодом стал заправлять делами. Теперь в Аквиларии положено благодарить одного Бога, и того — через канцелярию.

Её лицо, умиротворённое и спокойное, с расплывшимся по щекам нежным румянцем, было совсем близко. Длинные тёмные ресницы полуприкрыты, словно она стеснялась смотреть мне прямо в глаза. Или же дразнила, притворяясь смущённой? Анжелика выгнулась, подавшись навстречу. Запустила тонкие пальцы с аккуратно подстриженными ноготками в мои волосы, притянула мою голову ближе, и наши губы слились в долгом, сладостном, почти болезненном поцелуе. Хотелось большего. Хотелось всего и сразу. Хотелось, чтобы это утро не кончалось никогда.

Но она остановила меня. Мягко, но настойчиво отстранилась, заглянула в глаза, и в этом взгляде, глубоком и чистом, как лесное озеро в ясный день, я увидел любовь. Да, конечно. Но не только её. Ещё решимость. И какую-то странную, затаённую грусть. Словно она знала что-то, чего не знал я.

Я привык читать её лицо, как читают небо перед дорогой. Эту грусть я видел и раньше, но всегда мельком, краем глаза, когда она думала, что я сплю. Сейчас она не прятала её.

— Рудольф, — выдохнула она, и моё имя, сорвавшееся с её губ, прозвучало как молитва, как заклинание, как предчувствие. — Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю. Клянусь, я каждый день благодарю Бога, или кто там за него теперь, за то, что он послал мне тебя. Ты моё всё.

Она запнулась, словно подбирая слова, и я напрягся, как гончая, взявшая след. Что-то было не так. Что-то витало в воздухе, помимо аромата роз и её духов. Что-то тревожное.

Она не договорила. Взяла мою руку — ту, что лежала у неё на плече, — и положила себе на живот. Прижала ладонью сверху, чтобы я не убрал. И сказала, глядя не на меня, а на наши руки, просто, как говорят о том, что уже есть:

— Почувствуй. Твой.

Два слова, сказанные с такой простотой, ударили меня под дых посильнее любого, даже самого заточенного клинка. Ребёнок. Я опустил взгляд на её живот, всё ещё плоский и подтянутый, словно у юной девушки, а не у зрелой женщины, напрасно ища хоть какие-то признаки перемен. Ты уверена? Я не спросил этого. Спросило, видимо, лицо. Там ничего не было. Пока что. Только моя собственная широкая ладонь под её ладонью, и я не убрал бы её, даже если бы она отпустила, словно уже пытался защитить то, что ещё не проявилось, но уже существовало где-то там, в тёплой, влажной темноте её чрева.

И где-то ещё глубже, под этой ладонью, под рёбрами, шевельнулось то, о чём в нашем роду не говорят вслух. Я загнал это обратно. Не сейчас. Не в это утро.

— Глупый, — рассмеялась Анжелика, заметив моё замешательство и, должно быть, идиотское выражение лица. — Конечно, я уверена! Пока ещё ничего не видно, но поверь мне, любимый. Скоро, очень скоро ты станешь отцом.

Она смеялась, и в этом смехе не было ни капли злорадства, лишь чистое, незамутнённое веселье. Она радовалась моей растерянности, моему изумлению, моей беспомощности. Чёрт возьми, ей нравилось видеть меня таким: сбитым с толку, выбитым из привычной колеи, обезоруженным. Человека, который, по слухам, убил нападавшего подносом, можно было обезоружить одной фразой. Она это знала. И, кажется, только она.

Я обнял её, крепко прижал к себе, всем телом ощущая, как колотится её сердце, быстро-быстро, словно испуганная птичка бьётся в силках. Только это были не силки, а мои объятия, и страсть в них, бушевавшая ещё мгновение назад, уступила место чему-то иному. Заботе. Нежности. И глухому, нарастающему чувству тревоги. Желанию защитить. Оградить от всего мира, от всех его бурь и невзгод, от всех предательств и игр.

Моя Анжелика. Моя бесценная, хрупкая, ставшая вдвойне, вдесятеро бесценной женщина. Она зарыдала, уткнувшись лицом в мою грудь, и каждый её судорожный всхлип отдавался в моём сердце тупой ноющей болью, словно кто-то невидимый, но очень сильный сжимал его в кулаке, медленно выжимая из него жизнь.

Я не спрашивал, почему она плачет. Женщины плачут о ребёнке, которого ещё нет, так же, как о том, который уже есть, и мужчине в этом плаче делать нечего, кроме как держать.

И тут, словно осколки разбитого вдребезги зеркала, перед глазами замелькали обрывки воспоминаний. Давних, казалось бы, забытых. Тяжесть потерь, горечь разочарований, острая, как бритва, боль неразделённой любви. Серые стены замка под низким небом. Всё это осталось в далёком прошлом, погребённое под толстым слоем счастливых, безмятежных дней рядом с Анжеликой. Но прошлое — оно как застарелый шрам: никогда не исчезает полностью, лишь бледнеет, прячется под кожей, чтобы в самый неподходящий момент напомнить о себе ноющей болью, фантомными ощущениями, непрошеными видениями.

Я стёр её слёзы, целуя влажные веки, солёные щёки, припухшие губы. Эти слёзы были горькими, как морская вода, и обжигающими, как расплавленный свинец. И я поклялся себе — всем богам, старым и новым, и даже самому дьяволу, если понадобится, — что больше никогда не допущу, чтобы они омрачили её прекрасное лицо.

Клятвы легко даются в постели. Я знал это лучше многих. И всё же дал её.

Вот тогда и раздался стук.

Стук повторился. Бернар за дверью кашлянул: курьер ждёт, курьеру нужна подпись. Я отстранился от Анжелики с тяжёлым, словно налитым свинцом сердцем и с трудом поднялся с кровати. Ноги были чужими. Утро за ставнями продолжало горланить и скрипеть колёсами, как будто ничего не случилось, и это было самое странное: что мир не заметил.

Долг... Проклятое слово. Короткое, как выдох, и тяжёлое, как надгробная плита.

Она больше не плакала. Слёзы высохли, оставив после себя лишь влажные дорожки на щеках да красноватые прожилки в белках глаз. На её лице застыло выражение спокойствия.

Уверенности. И ещё какой-то странной, затаённой решимости. Словно она уже всё знала. Всё решила. Моя Анжелика никогда не пыталась меня удерживать, когда дело касалось долга или чести. Даже если этот «долг» заключался в том, чтобы убивать других людей ради забавы кучки пресыщенных аристократов и собственного выживания. Она понимала. Всегда понимала. И в этом тоже была её сила, её особенность. Её проклятие?

— Я должен идти, — хрипло произнёс я, хотя она и так всё знала. Даже не глядя на меня, она безошибочно угадывала каждое моё движение, каждую мысль, каждое колебание.

— Я знаю, — просто ответила она, и в её голосе не было ни упрёка, ни сожаления, ни страха. Только понимание. И какая-то глухая, затаённая тоска, которую я, кажется, начинал улавливать всё чаще и чаще.

Она натянула на плечи простыню, не для того, чтобы прикрыться от меня, а как кутаются от сквозняка. В спальне не было сквозняка. Он был во мне.

Я собрался с мыслями, как собирают рассыпавшиеся бусины: торопливо, нервно, боясь упустить хоть одну. Лига. Снова эта Лига. Сколько ещё можно? Сколько ещё крови должно пролиться, чтобы эта игра наконец закончилась? Вступивший в Лигу не имел права выйти из неё по своей воле, не имел права отказаться. Можно было лишь трижды отсрочить своё участие. Я использовал все три попытки. Дальше — только смерть. Либо ты убьёшь, либо убьют тебя. Третьего не дано. И если раньше, до встречи с Анжеликой, мне было, в сущности, плевать, то теперь у меня было ради чего жить. И ради кого умирать, если понадобится.

Ради кого умирать. Я поймал себя на том, что подумал это во множественном числе. Их теперь двое.

Я накинул халат и вышел. Лестница, по которой я сбегал тысячу раз, показалась длинной, как дорога на эшафот. С портретов на стенах смотрели Плеси: дед, умерший в первую брачную ночь; отец, каким он был до того, как поседел; и пустое место в ряду, где должен был висеть мой портрет, который я всё откладывал заказать. Внизу, в холле, пахло воском и мокрой шерстью: юнец пришёл пешком, и плащ на нём ещё не просох от утренней росы.

Курьер, тощий бледный юнец с бегающими глазками, стоял у дверей, не решаясь ступить на ковёр. Такие юнцы у Лиги всегда одинаковые, будто их выращивают в одном подвале: молодые, голодные, с испуганным взглядом и заученными словами. Через год-другой кто-нибудь из них сам подпишет контракт, чтобы больше не носить чужие приговоры, и станет носить свой. Бернар держался в двух шагах позади него, с лицом человека, стоящего у могилы, и я вдруг подумал, что это лицо у него не от природы. Оно от моих конвертов.

Я принял из рук юнца запечатанный сургучом конверт с гербом Лиги. Бумага была плотной и дорогой, сургуч чёрным, а от печати пахло горелым — так, будто её ставили минуту назад. Герб этот, скрещённые клинок и арбалет на фоне окровавленной луны, вызывал у меня приступы тошноты. Я расписался в книге, которую он раскрыл передо мной: напротив моего имени уже стояли три отметки, три чужие подписи, три отсрочки. Четвёртой графы в книге не было. Холодок пробежал по спине и остался там.

— Через две недели вас уведомят, кто ваша «дичь», — произнёс юнец заученную фразу, глядя куда-то мимо моего плеча, и я ощутил, как ком в горле мешает дышать.

Дверь за ним закрылась. Бернар постоял, ожидая распоряжений, не дождался и ушёл, беззвучно, как умеет только он. Наверху скрипнула половица: Анжелика подошла к двери спальни и остановилась. Не вышла. Она никогда не выходила в такие минуты. Она давала мне побыть с этим одному, потому что знала: потом я поднимусь и буду с ней, и тогда конверт останется внизу.

Я стоял в холле с конвертом в руке и мысленно начал отсчёт: четырнадцать дней, тринадцать ночей. Правила я знал, как вызубренный в детстве катехизис. Первый конверт — только объявление: охота открыта, имени нет. В этот же день другой курьер несёт другой конверт тому, кто станет дичью: «на вас открыта охота». Дичь узнаёт о ней первой — это её фора,

две недели, чтобы спрятаться, нанять людей, расставить капканы. Через две недели охотнику приносят второй конверт: имя, привычки, слабости, дом. С этого дня у охотника месяц. Не успел за месяц — дичь получает право убить его без правил. Всё просто. Четырнадцать дней я не буду знать, за кем иду. Он уже знает, что за ним идут. Времени у черты всегда мало, а за чертой — неизвестность. Мысли, словно испуганные птицы, бились в черепной коробке и уносили меня в прошлое. Туда, где всё это началось: к дороге, выющейся среди полей, к серым стенам замка, куда я вернулся после пяти лет столицы, не зная, зачем возвращаюсь.

Глава 2. Дорога в Изабеллу

Рудольф. За восемь лет до этого утра

Столица осталась позади, растворившись в дымке, словно похмельный сон. Шумная, суетливая, пропахшая духами и пороком Лютеция, со всеми её интригами, балами и борделями. Она манила, эта ненасытная шлюха, но в то же время и отталкивала. Я упивался ею, как терпким вином, но сейчас, сидя в седле, ощущал лишь гадливое послевкусие. Пять лет я прожил в ней так, будто завтра не наступит, и Лютеция, надо отдать ей должное, ни разу не напомнила мне, что оно наступает. Она никому не напоминает. За это её и любят.

Конь подо мной нетерпеливо переступал копытами, фыркал, словно разделяя моё настроение. Ветер, гнедой трёхлеток, купленный за безумные деньги у барышника, который клялся, что жеребец «злой, но честный». Обе половины клятвы оказались правдой. Прочь, прочь от всего этого! Я гнал не столько коня, сколько самого себя, нарушая все неписанные правила и приличия. Какой, к дьяволу, экипаж? Какая размеренная поступь? Мне нужен был ветер, бьющий в лицо, свистящий в ушах, выдувающий из головы всю столичную дурь. Ветер, пахнущий свободой и прошлым.

К полудню столичная дурь вышла из меня вместе с потом. Я снял шляпу, расстегнул ворот и впервые за пять лет вдохнул воздух, в котором не было ни пудры, ни дыма, ни чужих духов. Только пыль, нагретая трава и далёкий, едва уловимый запах хвои с холмов. От него защемило в груди, как от старой мелодии, которую не помнишь, откуда знаешь.

Дорога вилась, словно лента, брошенная небрежной рукой великана. Поля, ещё не выгоревшие под летним солнцем, изумрудно зеленели, обещая богатый урожай. Крестьяне, разгибаясь над бороздой, смотрели мне вслед долго и без любопытства: столичный всадник в здешних местах — событие, но не такое, ради которого стоит бросать работу. Где-то вдалеке, словно мираж, маячили холмы, покрытые густым тёмным лесом. Там водились дикие кабаны и хитрые лисы, а если верить слухам — и кое-что похуже. Впрочем, меня это не пугало. Я и сам был своего рода хищником, пусть и приручённым, обтёсанным светскими условностями. Хищником, которого хорошо кормили и научили держать вилку.

Я намеренно сделал крюк. Небольшой, но значимый для меня. Хотелось взглянуть на места, где прошло детство. Или, вернее, та его часть, которую ещё можно было назвать детством. Вот здесь, на этом самом поле, мы с Волком, сыном графа Альди, гоняли зайцев, воображая себя доблестными рыцарями. Заяц был драконом, репейник — вражеским войском, а полосатая от солнца межа — границей королевства, которую мы обороняли с деревянными мечами до самой темноты, пока за нами не приходил Эжен и не гнал обоих по домам, обещая, что в следующий раз оставит в поле волкам.

А вон там, у старой, раскидистой ивы, я впервые поцеловал Ани, рыжую девчонку, дочь лесника. Она тогда ещё плюнула мне в лицо и обозвала «столичной фифой», хотя никакой столицы я в ту пору не видел, а видела её, надо думать, она сама — в книжках отца. Я до сих пор помню тот плевок лучше, чем поцелуй: он был горячий и пах кислым яблоком, которое она грызла до того. Бойкая была девчонка, настоящая дьяволица. Волосы — как огонь, коленки в ссадинах, и лазила она по деревьям выше нас с Волком, чего мы ей оба не простили. Интересно, что с ней стало? Наверное, вышла за какого-нибудь лесоруба и родила ему пятерых рыжих чертенят.

Воспоминания нахлынули внезапно, остро, словно укол булавкой. Я даже удивился: неужели вся эта столичная мишура, весь этот блеск и фальшь не смогли вытравить из меня

мальчишку, которым я когда-то был? Неужели где-то там, в глубине души, под слоем цинизма и усталости, ещё теплится огонёк чего-то чистого, настоящего? Я не стал искать ответа. В Лютеции меня научили, что на такие вопросы отвечают только пьяные и поэты, а я был трезв и стихов не писал.

Я бросил взгляд на противоположный берег реки, лениво несущей свои мутные воды. Там, за полоской леса, виднелись земли Альди. Старинный замок, окружённый рвом, башни, ошестинившиеся зубцами. Даже отсюда было видно, что одна из башен потемнела и осела, как старик, которому не на что опереться. Как же хотелось увидеть Волка! Но — нет. Сначала домой. Долг, будь он неладен. Сыновний долг.

Изабелла. Так назывался наш родовой замок. Странное название для сурового края, где даже летнее солнце казалось холодным и неласковым. Старая легенда гласила, что на этом самом месте, где теперь высились серые стены, когда-то, в незапамятные времена, юноша и девушка, без памяти влюблённые друг в друга, закопали две розы, белую и алую, принося клятву в вечной любви. Они были помолвлены, их семьи благословили этот союз, и свадьба должна была состояться через год. Счастливейший день в их жизни — ставший последним счастливым днём.

Судьба, эта капризная стерва, распорядилась иначе. Юноша уехал на войну, защищать честь короля и Аквиларии. Вернулся героем, покрытым славой, но опоздал. Его возлюбленная умерла, не вынеся какой-то скоротечной болезни. То ли чума, то ли лихорадка — кто теперь разберёт. Горе, говорят, подкосило юношу. Он потерял вкус к жизни, перестал есть, спать, разговаривать. Стал тенью самого себя. Каждый день, на рассвете, он приходил на то самое место, где они когда-то клялись друг другу в вечной любви, и сидел там до заката, глядя на землю, словно надеясь увидеть призрак своей потерянной невесты.

А потом он решил построить на этом месте замок. Не просто замок — храм любви. И назвал его в честь своей возлюбленной: Изабелла. Рабочие, возводившие стены, потом, переkreщаясь, рассказывали, что, когда строительство было завершено, тяжёлые дубовые двери замка распахнулись сами собой, и навстречу графу Плеси вышла Она. Прекрасная, как ангел, и грустная, как сама смерть. Она улыбнулась ему, протянула руку, приглашая войти, и исчезла, растворилась в воздухе, словно утренний туман.

Что было дальше, история умалчивает. Известно лишь, что граф Плеси после этого случая будто бы ожил. Вернулся к делам, стал принимать гостей и даже женился. Но проклятие, как шептали в народе, осталось. Проклятие рода Плеси. В тот момент, когда мужчины этого рода чувствовали себя совершенно, безоговорочно счастливыми, случалось нечто. Нечто ужасное, непоправимое, переворачивающее всю их жизнь с ног на голову. Или, вернее, с головы на ноги.

Мне рассказала об этом старая нянька, когда мне было шесть, и рассказала как рассказывают о погоде: без злого умысла, просто потому, что в этом доме об этом знали все. С тех пор я не мог радоваться до конца. Всегда, в самую лучшую минуту, какая-то часть меня оглядывалась через плечо.

Мой дед, красавец и повеса, умер в первую брачную ночь, не успев даже толком познать радостей супружества. Мой отец... Его любимая жена, моя мать, умерла при родах, оставив его безутешным вдовцом на всю оставшуюся жизнь. Я вырос без материнской ласки, зная о ней лишь по рассказам отца и старой няньки да по розам, которые она посадила в саду лютецийского особняка, куда отец с тех пор не ездил. И я поклялся. Поклялся, что на мне эта цепочка прервётся. Что я не позволю проклятию разрушить мою жизнь. А для этого нужно было всего лишь не влюбляться. Ни-ког-да. И, надо сказать, до поры до времени мне это с блеском удавалось. Женщины в Лютеции любили меня за это. Они называли это лёгкостью. Я знал, что это страх, но кто в двадцать пять лет станет спорить с женщиной, которая называет тебя лёгким?

Изабелла встретила меня уныло. Серый камень стен, замшелые, потемневшие от времени башни, узкие бойницы окон, похожие на пустые глазницы. Ров давно пересох, и в нём росла крапива в человеческий рост. Замок, когда-то казавшийся мне величественным и неприступным, теперь навевал тоску. Хотелось развернуться и ускакать обратно, в Лютецию, к её огням, к её шуму, к её порокам. Но — нет. Дом есть дом. И, несмотря ни на что, я чувствовал, что именно здесь, в этих стенах, моё место. По крайней мере, пока.

Здесь пахло так же, как в детстве: мокрым камнем, дымом из кухонной трубы и псиной. Запахи не стареют. Стареют только те, кто их помнит.

У главного входа, под сенью покосившегося навеса, я заметил высокую, широкоплечую фигуру. Мужчина, одетый в простой, но добротный камзол, отдавал какие-то распоряжения слугам. Он был мне знаком. Да это же старый Эжен, королевский лесник! Друг отца и мой наставник. Сколько лет, сколько зим!

Всё, что я умел по-настоящему, я умел от него. Не фехтование — фехтованию учили в корпусе. Эжен учил другому: ждать. Сидеть в засаде час, два, три, пока ноги не отнимутся, и не шевелиться, потому что зверь чует движение раньше, чем видит его. Читать след по примятой траве и сломанной ветке. Слушать лес как слушают собеседника, который говорит тихо и не повторяет дважды. «Лес всё помнит, Леопард, — говорил он. — И всё видит. Веди себя в нём так, будто за тобой смотрят». Я вёл себя так потом всюду. В Лютеции это называли чутьём.

Я не удержался. Юношеское озорство, казалось, погребённое под спудом столичной жизни, внезапно проснулось, забурлило в крови. Я пустил коня в галоп, не сбавляя хода, подлетел к крыльцу и прыгнул. Прямо на ходу, перекатившись через голову, как учили в кадетском корпусе, и вскочил на ноги в нескольких шагах от Эжена. В руке — не шпага (против безоружного это было бы нечестно), а обычная, грубо обструганная жердь, подхваченная по пути.

Лесник ответил мгновенно. Там, где ещё секунду назад он стоял, невозмутимо наблюдая за моим приближением, зияла пустота. Он отскочил в сторону, уходя от моего выпада, и попытался зайти мне за спину. Ловко. Но я был готов к этому. Обманное движение, бросок. Жердь летит в сторону, за ненадобностью. Я же, проскользнув под занесённой рукой Эжена, оказываюсь у него за спиной. Удушающий захват — и...

— Леопард! — раздался приглушённый смешок. — Ты ли это?

Я ослабил хватку, обернулся. Отец. Он стоял на крыльце, опираясь на резную трость, и улыбался. Редкое зрелище в последнее время. Эжен высвободился из моих рук — не рванулся, а именно высвободился, как высвобождаются из ремня, — отступил на шаг и потирал шею, которую я, кажется, всё-таки помял, и улыбался тоже, широко, по-доброму. И только в глазах отца я заметил тень печали.

— Да, ничего не скажешь, возмужал, — проговорил лесник, протягивая мне руку. Крепкое, шершавое рукопожатие, ладонь как кора. — А я-то думал: кто это тут расшалился?

— Ты ещё больше похож на свою мать, — голос отца дрогнул. — Молодец, что приехал, Рудольф. Я так рад тебя видеть.

Он постарел. Сильно постарел. Годы, одиночество, горе — всё это оставило на его лице неизгладимый след. Глубокие морщины, прорезавшие лоб и щёки, были не просто признаками возраста, а шрамами. Шрамами, оставленными временем и судьбой. Трость была новой. Пять лет назад он ходил без неё, и я не знал, когда именно она появилась, и от этого незнания было стыдно, как от невыученного урока.

Мне вдруг почудилось, что я стою у свежей могилы, где, как говорят, похоронен самый близкий мне человек. От этой мысли у меня повело спину, словно от сильного удара в поясницу. Я молча протянул отцу руку, и он сжал её — сильно, крепко, словно боясь отпустить.

— Ну что ж, — сказал он, немного помолчав, — пойдём в дом, сынок. Расскажешь, чем живёт столица. Если, конечно, не забыл дорогу за время своего отсутствия.

Он говорил медленно, с расстановкой, словно каждое слово давалось ему с трудом. За обеденным столом, в просторной, но какой-то неуютной столовой, где пахло пылью и старым деревом, я рассказывал отцу о столичной жизни. О балах, о театрах, о новых модах. Обо всём, кроме самого главного. Я намеренно избегал упоминать о себе, о своих «подвигах», придумывая на ходу имена и обстоятельства. Дуэль на мосту становилась дуэлью какого-то маркиза; ножи, которые я метал в яблоко на голове у слуги ради аплодисментов, летели из чужих рук. Получалось, наверное, не очень складно, но отец, казалось, не замечал этого. Он слушал внимательно, изредка кивая и поглаживая седеющий ус. Иногда, когда я рассказывал о каком-нибудь особенно пикантном случае, он хмыкал и отхлёбывал из бокала вино. Вино было старое, из тех бутылок, что он берёт для гостей, которых давно не было.

Мне же, если честно, всё это было до смерти скучно. Гораздо больше меня интересовало то, что происходило здесь, в провинции. Но я терпеливо ждал, зная, что отец сам заговорит об этом, когда сочтёт нужным. Так было всегда. Он никогда не начинал с плохого. Он давал плохому dozреть в тишине, как вину.

И он заговорил. Когда мои истории, правдивые и вымышленные, иссякли, он откашлялся и начал.

То, что я услышал, не прибавило мне бодрости. Дела в имении шли неважно. Урожай в прошлом году выдался скудным, крестьяне роптали, управляющий, старый плут, кажется, воровал. Но хуже всего было то, что случилось с Волком, моим другом детства. Его отец, граф Альди, умер, оставив сыну не только титул и замок, но и огромные долги. Сам же Волк, по словам отца, совсем отбилась от рук. Запил, загулял, перестал заниматься делами. Поговаривали, что виной всему — несчастная любовь. Какая-то столичная штучка, из знатной, но обедневшей семьи, отказала ему, предпочтя более выгодную партию. И это, мол, так подкосило молодого графа, что он... В общем, всё шло к тому, что Альди могли лишиться всего, что имели.

— А в последние дни, — отец помолчал, глядя в бокал, — он и вовсе спятил. Распустил всех слуг. Приказал никого не пускать в замок, ни под каким видом. Эжен ездил. Его не пустили. Эжена, который вытаскивал их обоих из реки, когда им было по семь лет.

Я, разумеется, заявил, что немедленно отправляюсь к другу, выручать его из беды. Отец лишь кивнул, не возражая. Он понимал. Только когда я уже стоял в дверях, он сказал, не поднимая головы:

— Он спрашивал о тебе. Один раз, через Эжена, ещё до того, как запёрся. Спросил, не вступил ли ты там, в столице, в какую-нибудь игру.

Я не понял тогда, что это значит. Я решил, что спрошу у него самого.

Глава 3. Арбалет

Рудольф

Замок Альди, когда-то величественный и гордый, теперь представлял собой печальное зрелище. Стены потрескались, штукатурка облупилась, сад зарос бурьяном. Ворота стояли распахнутыми, но не гостеприимно, а как стоят распахнутыми двери в доме, откуда все ушли. На аллее, по которой мы с Волком когда-то гоняли на пони, валялось сломанное колесо от телеги, и никто не убрал его, хотя лежало оно, судя по траве, проросшей сквозь спицы, не первую неделю. Подъезжая к крыльцу, я почувствовал на себе чей-то взгляд — тяжёлый, недобрый. По спине пробежал холодок, словно от предчувствия близкой опасности. Эжен научил бы меня, откуда смотрят. Я забыл его науку, но не забыл ощущение: так смотрят из кустов, а не из окна.

Я спешился, оставив Ветра у коновязи, и постучал в тяжёлую дубовую дверь. Глухой звук, словно удар в пустоту, разнёсся по, казалось, вымершему замку. Никто не ответил.

— Эй! — крикнул я, стараясь придать голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовал. — Есть тут кто живой?

Тишина. Мёртвая, зловещая тишина. Словно замок не просто опустел, а вымер. Даже птицы, которых в этом саду когда-то было столько, что мы с Волком стреляли в них из рогаток и ни разу не попали, куда-то делись. Я стоял у двери и слушал собственное дыхание.

— Неужели, — снова заговорил я, уже громче, — славный род Альди утратил последние остатки гостеприимства? Или старый друг не может рассчитывать на приют?

И тут что-то изменилось. Я не мог сказать, что именно, но словно замок очнулся от сна. В одном из окон третьего этажа мелькнуло чьё-то лицо — бледное, с тёмными кругами под глазами. Женское лицо. Девушка, совсем юная, но красивая. Невероятно красивая. Она окинула меня быстрым, оценивающим взглядом и исчезла.

А затем замок ожил.

— Брат! — раздался откуда-то из глубины дома звонкий девичий голос. — Это же Лео! Леопард! Ты что, совсем оглох? Открывай, кому говорят!

Леопард. Давным-давно, в детстве, мы с Волком придумали себе прозвища. Он был Волком, а я — Леопардом. Волком — потому что мог выть так, что собаки на псарне отвечали; Леопардом — потому что лазил по деревьям и однажды спрыгнул с ветки на спину кабану, за что был выпорот отцом и обожаем всей округой ровно неделю. И никто, кроме нас двоих и Хвостика, сестры Волка, не называл меня так. Хвостиком её прозвали мы же: она таскалась за нами повсюду, как хвост, и отвязаться от неё было невозможно. Она принимала прозвище как титул.

— Не желаешь открывать? Ну так я сама! — Голос приближался, сопровождаемый топотом ног по лестнице и вознёй у двери.

Заскрежетал засов, потом другой. Третий. Я насчитал три засова там, где в детстве не было ни одного. И, наконец, тяжёлая, окованная железом дверь распахнулась. Я ожидал увидеть кого угодно — старую служанку, управляющего, даже самого Волка. Но не её.

Передо мной стояла она. Та самая девушка, которую я мельком увидел в окне. Только теперь она была не бледным призраком, а живой, настоящей. И невероятно, ошеломляюще красивой. Из бесёнка в юбке, вечно путавшейся под ногами и мешавшей нашим играм, Хвостик превратилась в ангела. Не меньше. Тёмные волосы, небрежно собранные, как собирают их те, кому не для кого прибираться; худые руки в чернилах — она, видимо, вела за брата все его бумаги; и глаза, в которых усталость и радость дрались за место.

— Хвостик? Элиза? — Я сам не узнал своего голоса, хриплого, срывающегося. — Ты ли это?

Она ничего не ответила, лишь слегка покраснела, и этот лёгкий румянец, пробежавший по её щекам, сделал её ещё прекраснее.

— Прелестная мадемуазель, — опомнившись, произнёс я, стараясь придать голосу непринуждённость, — не соблаговолите ли вы проводить графа Плеси к графу Альди?

Она, кажется, оценила мою попытку разрядить обстановку.

— Ладно, Лео, — сказала она, чуть жеманно, но с явной иронией, — не строй из себя шута. Граф Альди примет вас в своём кабинете. Извольте следовать за мной.

И она, словно бабочка, взлетела по лестнице, ведущей наверх. Я, забыв обо всём на свете, последовал за ней. Лестница была та же, только перила шатались, а на ступенях лежала пыль, в которой отпечатались только два ряда следов: её маленькие и чьи-то тяжёлые, неровные, как у человека, который держится за стену. И только тут, на полпути, меня, словно обухом по голове, ударила мысль: а где же Волк? И что всё это значит?

Хвостик, словно прочитав мои мысли, на бегу обернулась и крикнула:

— Лео, как же я рада, что ты приехал! Мы давно никого не принимали. Может, хоть ты сможешь на него повлиять. Проходи, он ждёт тебя.

Он ждал. Да, чёрт возьми, он действительно ждал. Только вот чего?

Когда я вошёл в кабинет, первое, что я увидел, — это остриё арбалетной стрелы, направленное мне прямо в грудь.

Волк сидел за своим огромным, заваленным бумагами столом, в тяжёлом резном кресле, и дрожащими руками сжимал заряженный арбалет. Тетива была натянута до отказа, стрела — боевая, с четырёхгранным наконечником, такими в наших краях бьют кабана. Лицо его, бледное, осунувшееся, с воспалёнными глазами, выражало что-то, чему я не сразу нашёл имя. Не страх — я знал, как выглядит страх, и это было не оно. Это была сосредоточенность человека, который несколько ночей не спал, чтобы не проспать, и теперь смотрит на всё, что входит в дверь, через прицел. Я знал это лицо. Я видел его двадцать лет, я видел его смеющимся, спящим, разбитым в кровь после драки с сыновьями мельника. Я не видел его таким.

Я замер на пороге, не в силах вымолвить ни слова.

— Лео... — Голос Волка был тихим, сдавленным, словно он с трудом проталкивал слова сквозь пересохшее горло. — Это ведь не ты. Скажи мне, что это не ты. Не ты пришёл за мной.

— Волк, что за бред? — Я попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой и натянутой. — Ты о чём?

— Не притворяйся. — Голос Волка стал ровным, той ровностью, с какой говорят, держа палец на спуске. — Я знаю. Я всё знаю. Это ты. Ты — «охотник». Ты пришёл убить меня.

Теперь я, кажется, начинал понимать. Лига. Чёртова Лига Вольных Игроков. Неужели Волк впутался в это дерьмо? Но как? Зачем? В Лютеции о Лиге говорили на балах, понизив голос, как о любовнице короля: все знали, что она есть, никто не признавался, что видел. Я знал двоих, вступивших в неё. Один был мёртв. Второй пил так, что скоро сравняется с первым.

Я молчал, не зная, что сказать. Как убедить друга, что он ошибается? Что я не тот, кого он видит перед собой? Я просто хотел помочь. Между нами было шагов пять, и я успел подумать, что за пять шагов арбалет не промахивается даже в дрожащих руках.

И тут, как гром среди ясного неба, раздался голос Хвостика:

— Брат! Ты что, совсем рехнулся? Это же Лео! Наш Лео! Как ты можешь...

Волк опустил арбалет. Медленно, словно боясь, что он выстрелит сам собой. Стрела теперь смотрела в пол, и я увидел, как по его виску ползёт капля пота, хотя в кабинете было холодно: камин не топили.

— Прости, Лео, — пробормотал он. — Прости. Я просто...

— Всё в порядке. — Я медленно, стараясь не делать резких движений, приблизился к столу. — Всё хорошо, старый друг. Я понимаю. Ты напуган. Но я не «охотник». Клянусь тебе. И я не играю в эти игры.

Волк смотрел на меня недоверчиво, как смотрит зверь, который слышит шаги и ещё не решил, бить или ждать. Но в глубине его глаз, кажется, мелькнуло что-то. Не надежда — узнавание.

Я протянул ему руку, и он, после секундного колебания, ответил на рукопожатие. Крепко. Судорожно. Словно боясь, что я исчезну, растворюсь в воздухе, как наваждение. Рука была влажной и горячей. Так горят руки у человека, который не спал несколько ночей.

— Прости меня, — повторил он. — Прости. Я совсем запутался.

— Ничего. — Я попытался улыбнуться, на этот раз искренне. — Главное, что мы снова вместе. И мы со всем разберёмся. Леопард и Волк, как в старые добрые времена. Ты же помнишь?

Он кивнул, и на его губах появилась слабая, неуверенная улыбка. А затем, словно вспомнив о чём-то, он обернулся к сестре:

— Хвостик! Ты что стоишь, как истукан? Разве не видишь: к нам гость пожаловал! Да ещё какой! Собирай на стол, да поживее!

Она, словно очнувшись от сна, вспыхнула, одарила брата гневным взглядом и выскочила из комнаты. Волк усмехнулся, глядя ей вслед.

— Совсем взрослая стала. А помнишь, как она за нами таскалась, проходу не давала?

— Помню. — Я тоже усмехнулся, вспоминая детские годы. — И как ты пытался от неё избавиться, да всё без толку.

— Да уж. — Волк вздохнул. — А теперь вот глаз с неё не свожу. Красавица, а?

Я невольно залюбовался тем, как он произносит эти слова. С какой-то отцовской гордостью, что ли.

— Да, — ответил я. — Твоя сестра прекрасна.

— Вот и я о том же. Жениха ей надо. Хорошего. Надёжного. Чтоб не обижал.

— Я помогу тебе. Найдём ей самого лучшего жениха в Аквиларии.

— А сам-то ты что ж? — Волк хитро прищурился. — Неужто не приглянулась?

— Волк, — я постарался придать голосу строгость, — не думаю, что я...

— Ладно, ладно, — перебил он меня. — Не кипятись. Шучу я. Но учти. Она ведь в тебя того. С детства. Так что будь осторожен, ладно? Не давай ей ложных надежд. Прошу тебя, как друга.

Я кивнул, понимая, что это серьёзно. Очень серьёзно. Волк никогда не просил ни о чём как друг. Он просто брал, как берут у своих. Если он просил, значит, это было единственное, что у него осталось, о чём он мог просить.

За столом, накрытым на скорую руку, но всё же с явными признаками былой роскоши (серебряные приборы, тонкий фарфор, хрустальные бокалы — и на всём этом ни одного слуги, Хвостик носила блюда сама, и я видел, как она стесняется этого и как гордится), Волк, немного успокоившись, рассказал мне свою историю. Арбалет он положил на стол, рядом с тарелкой, как кладут нож, и ни разу за вечер не отодвинул его дальше вытянутой руки.

После смерти матери (она умерла, когда Хвостик едва исполнилось пять лет) дела у старого графа Альди пошли наперекосяк. Он и раньше не был, скажем прямо, гением по части денег, а тут несколько неудачных вложений, какие-то сомнительные сделки, а потом болезнь. И вот в один прекрасный день (вернее, ужасный) Волк и его сестра остались сиротами, с полуразрушенным замком, кучей долгов и громким именем, которое, увы, не стоило и ломаного гроша.

Молодость, сила, вера в себя — всё это могло бы помочь Волку выкарабкаться, если бы не она. Прекрасная, надменная, коварная. Имя её я, кажется, так и не запомнил. Да и неважно

это. Важно то, что Волк влюбился. Влюбился, как мальчишка, без памяти, без оглядки. Он осыпал её подарками, писал ей стихи (довольно посредственные, надо сказать: он читал мне два, и я до сих пор помню рифму «любовь — вновь», потому что она повторялась в обоих), устраивал в её честь балы и фейерверки, закладывая под них последнее, что не было заложено. А она смеялась над ним. Открыто, нагло, безжалостно. Она предпочла ему какого-то жирного, лысого банкира, который был старше её отца. Но богат. Баснословно богат.

Этот удар подкосил Волка. Он замкнулся в себе, перестал заниматься делами, запил. Сестра пыталась его образумить, но всё было тщетно. Он отправил её учиться в какой-то пансион, подальше от себя, от своих бед, от своего безумия. А сам искал забвения. В вине, в картах, в женщинах. Но ничто не помогало.

И тогда он решил сыграть в игру. Вступил в Лигу Вольных Игроков.

— Ты хоть знаешь, что это такое? — спросил он, и я впервые за вечер услышал в его голосе не страх, а что-то вроде злого превосходства. Так говорят люди, побывавшие на войне, с теми, кто её не видел. — Нет, ты слышал. Все слышали. А знаешь?

Я знал то, что знали все: Лига — единственное, что в королевстве полностью оправдывает убийство человека, неважно, какого он рода или ранга. Волк рассказал остальное.

Каждый, кто подписал контракт, проходит четыре охоты. В первой он охотник. Во второй и третьей — дичь. В четвёртой — снова охотник. Тот, кто выживет во всех четырёх, получает из королевской казны столько, что хватит выкупить любые долги, и славу, и право выйти. Навсегда. Стать свободным. Волк сказал это слово так, будто пробовал его на зуб.

— А если не хочешь четвёртой? — спросил я. — Если наигрался?

— Нельзя. — Он налил себе, не глядя. — Вступивший в Лигу не выходит из неё по своей воле. Можно трижды попросить отсрочку. Три раза Лига терпит. На четвёртый ты становишься дичью без предупреждения. Без права спрятаться. Таких находят в собственной постели. Тихо. Мирно. Без шума.

Дичь, объяснил он, не знает, кто её охотник. Ей запрещено нападать первой. Она может только ждать, прятаться, ставить капканы, нанимать двойников, если есть на что. Зато её предупреждают: конверт с печатью приносят в тот же день, когда охотнику объявляют охоту, и у тебя есть две недели форы, прежде чем ему назовут твоё имя, и ты знаешь, что на тебя открыта охота. Охотник же получает всё: имя, привычки, слабости, страхи своей жертвы. И право первого удара. Любым способом. Но если первый удар не удался, если дичь выжила — она получает право ответить. И тогда всё меняется.

— Справедливо, — сказал Волк без улыбки. — Они называют это справедливым. И знаешь, самое страшное, Лео? Когда подписываешь, оно и правда кажется справедливым.

Первую свою охоту он выиграл. Легко, играючи. Его «дичь» оказалась каким-то мелким чиновником, трусливым и ничтожным. Волк заколол его, как свинью, даже не вспотев. Он сказал это ровно, глядя в бокал, и я понял, что он говорит это ровно уже много ночей подряд, самому себе, и что у него не получается. А потом всё вернулось на круги своя. Тоска, отчаяние, бессмысленность. И ожидание. Ожидание следующей игры.

И вот дождался. Курьер, невольный вестник смерти, принёс ему уведомление. Он — «дичь». На него открыта охота. И он, кажется, знал, кто его «охотник».

— Кто? — спросил я.

Он посмотрел на меня долго. Потом на арбалет. Потом снова на меня.

— Тот, кто придёт, — сказал он. — Тот, кто придёт, тот и будет.

Он готовился. Распустил слуг, потому что слуга, купленный охотником, страшнее самого охотника. Нанял каких-то сомнительных типов, которые должны были следить за всеми новоприбывшими в окрестностях замка: это их взгляд я поймал на аллее. Пытался раздобыть денег на двойников. Но денег не было. Ни гроша. Он заложил последнее — материнское серебро, то самое, что стояло сейчас передо мной на столе, — и выкупил обратно, потому что Хвостик

плакала. Так он и сказал: «потому что Хвостик плакала», и в этом было всё, что осталось от графа Альди.

Он ждал. Не боялся — я это видел: он был из тех, кто в засаде злится, а не дрожит. И пил. Не чтобы заглушить — чтобы не спать: спящего берут. И когда я приехал, он был уверен, что это он. Что это я — его «охотник». Не потому, что я похож на охотника. Потому что за две недели он решил не верить никому, и это решение он держал, как держат оборону, — до конца, не делая исключений.

Рассказывая всё это, Волк то и дело прикладывался к бутылке — ровно, как прикладываются к делу, — и я видел, что он не пьянеет. И в глазах его, покрасневших и воспалённых, я видел не только страх. Но и зависть. Зависть ко мне — другому, здоровому, удачливому. Ко мне, у которого, как ему казалось, всё было хорошо.

Я пытался его отвлечь, разговорить. Рассказывал о столичной жизни, о балах и интригах, о своих похождениях. Вспоминал наше детство, наши игры, наши проказы: как мы подожгли стог и неделю ходили с обожжёнными бровями, как Эжен искал нас с собаками, когда мы ушли в лес за «драконом», как Хвостик, шести лет от роду, укусила сына мельника за то, что тот обозвал Волка нищим. И, кажется, мне это удалось. Волк оживился, начал улыбаться, шутить. Даже Хвостик, всё это время сидевшая за столом молча, словно тень, и не сводившая с меня глаз, кажется, немного оттаяла. Один раз она рассмеялась — коротко, по-детски, зажав рот ладонью, — и Волк посмотрел на неё так, будто увидел солнце.

Мы пили, ели, смеялись. И мне на какое-то время показалось, что всё ещё может быть хорошо. Что мы, как в старые добрые времена, справимся со всеми бедами. Что мы...

— Оставайся, — сказала Хвостик, когда свечи догорели до половины. — Хоть на ночь. Хоть на неделю. Он не спит вторую неделю. При тебе, может быть, уснёт.

Я хотел остаться. Я уже открыл рот, чтобы сказать «конечно». Но Волк опередил меня.

— Нет. — Он сказал это трезво и спокойно, как говорят о решённом. — Уезжай, Лео. Завтра же. Послушай меня, а не сестру. Я сейчас не доверяю никому. Не потому, что ты — потому что не могу себе позволить доверять: тот, кто позволит, — мёртв. Если ты останешься, я буду смотреть на тебя через прицел каждую ночь, и однажды рука сделает это раньше головы. Я не хочу убить тебя по ошибке. И я не хочу, чтобы это оказался ты, — ты понимаешь, о чём я, и не спорь. — Он положил ладонь на арбалет, не как на оружие, как на стол. — И второе. Я готов. У меня всё продумано: люди на дорогах, капканы на аллее, я не езжу одним путём дважды, я не сплю там, где спал вчера. Один я знаю, кто где стоит. Двое — это уже не засада, это гости. Уезжай. Тётка Аделаида звала тебя в Тихую Заводь ещё на прошлую Пасху — поезжай к ней, это два дня отсюда. Если что-то будет нужно, я пришлю весточку через Эжена. Дай мне месяц. Столько у него по правилам. Если всё обойдётся, я сам приеду за тобой и мы напьемся как не напивались в корпuse.

Я спорил. Он не уступил. Я никогда не умел с ним спорить, когда он был прав, а он был прав: человек, который две недели не спит, чтобы не проспать, не может позволить себе второго человека в доме. Я пообещал уехать к тётке и ждать. Он пообещал прислать Эжена, если что. Мы обменялись этими обещаниями, как в детстве обменивались ножами, и это была честная сделка.

Но, прощаясь с Волком и его сестрой, я не мог отделаться от ощущения безнадёжности. Хвостик стояла на крыльце с фонарём, и свет его дрожал, потому что дрожала рука. Волк не вышел. Он смотрел из окна кабинета, и я знал, что арбалет лежит на подоконнике, и что он не опустит его, пока я не скроюсь за поворотом, — не потому, что не верит мне, а потому, что решил не верить никому и держит слово. Словно над ними, над этим старым, обветшалым замком нависла какая-то тёмная, зловещая сила. Сила, которую я не мог ни понять, ни победить.

Ветер шёл шагом, и я не подгонял его. Оглянулся я один раз. Фонарь на крыльце всё ещё горел.

Глава 4. Крах надежд

Рудольф

Известие настигло меня, когда я, стиснув зубы, гостил у дальних родственников в поместье с издевательски-умиротворяющим названием «Тихая Заводь». Какая горькая ирония! Тишиной там и не пахло. Тётушка Аделаида, упокой, Господи, её неуёмную душу (хотя, зная её вздорный нрав и любовь к интригам, сильно сомневаюсь, что ей уготовано место в раю), была женщиной деятельной. Чересчур деятельной, чтоб её! Балы, охоты, званые обеды, приёмы, визиты, сплетни, сватовство, пересуды. Тётушка вставала в шесть, и с этой минуты дом жил так, будто в нём тушат пожар. Она сватала мне трёх племянниц соседей за первую неделю, и все три, надо отдать ей должное, были одинаково румяны, одинаково молчаливы и одинаково смотрели на мои сапоги, будто там было написано моё состояние. От её нескончаемого, бьющего через край пыла, от её пронзительного, как у рыночной торговки, голоса, от бесконечной череды напудренных париков, шелестящих юбок и приторно-сладких улыбок у меня к концу недели разболелась голова, и единственным моим желанием, навязчивой идеей, стало сбежать. Сбежать куда угодно, хоть к чёрту на рога, в самое пекло, лишь бы не видеть, не слышать, не чувствовать всего этого.

Я считал дни. Волк просил месяц. Прошло девять дней, и каждый вечер, ложась в перину, пахнущую тётушкиной лавандой (в Тихой Заводе лавандой пахло всё, даже собаки), я вычитал ещё один и говорил себе число, и число не кончалось.

На десятый день приехал Эжен. Не с письмом — сам, верхом, и это было хорошо: Эжен верхом означало, что Волк жив и что случилось что-то, о чём не пишут. Случилось вот что. Позапрошлой ночью на Волка напали. Один человек, с ножом, на аллее, когда Волк возвращался от дозорных. Волк убил его — коротко, ножом же, как учили нас обоих. Нападавшего никто не знал: выглядел как бродяга, из тех, что ночуют по сараям, с десятью ливрами в кармане. По правилам Лиги это было первое нападение охотника, и оно не удалось. С этой ночи Волк — дичь, получившая право ответа, а охотник, кто бы он ни был, — человек, который рискует, подойдя ещё раз. Волк передавал мне через Эжена то, что не стал бы писать: «Всё, Лео. Он пришёл и промахнулся. Теперь моя очередь, и он это знает. Сиди у тётки. Через десять дней — день памяти матери; я поеду к ней на могилу, как езжу каждый год, а после заеду за тобой, и мы напьемся». Эжен передал это слово в слово, как передают приказ, и добавил от себя одно: «Он спит. Первый раз за три недели спит».

Я выдохнул. Я помню, как выдохнул: до дна, как выдыхают, когда сняли груз, который держали не спиной, а всем телом. Вечером я пил с тётушкой её кислое вино и был с племянницами любезен так, что тётушка решила, что дело сладилось.

А на другой день пришло второе письмо — от отцовского нотариуса из Лютеции. Бумаги, которые мог подписать только я, кредиторы, которые ждали только меня, тяжба о наследстве моей матери, длившаяся дольше, чем я жил на свете, и подошедшая к сроку именно теперь. Нотариус просил неделю. Кредиторы растянули её на две. До дня, когда Волк поедет на могилу матери и потом заедет за мной, оставалось больше. И у меня было его слово, что всё кончено. Я успевал. Я поехал в Лютецию. Я говорю это сейчас так же ровно, как говорю остальное, потому что иначе не могу это сказать: я поехал в Лютецию подписывать бумаги, потому что мой друг велел мне не беспокоиться, и я ему поверил.

Письмо с чёрной печатью нашло меня в конторе нотариуса на двенадцатый день после моего приезда в Лютецию. Посыльный, тощий, словно выструганный из щепки, и бледный,

как сама Смерть во плоти, вручил его мне при нотариусе, при кредиторах, при чернильнице, и все они смотрели, как я ломаю сургуч. Печать была Альди, чёрный сургуч — траурный. Я всё понял ещё до того, как судорожно, дрожащими, словно у старика, пальцами развернул плотную, дорогую бумагу, пахнущую затхлостью, сыростью и бедой.

Почерк был Эжена. Я видел его почерк второй раз в жизни. Здесь было четыре строки. Крупные, неровные, с нажимом, от которого перо дважды прорвало бумагу.

Волк... Мёртв.

Четыре строки. «Граф погиб. Карета, порох. Собирался к часовне. Сестра ранена, жива. Похороны через неделю». Ни кто, ни как, ни почему. Эжен не писал того, чего не знал, и не писал того, что знал, если это не помещалось в четыре строки: он и говорил так.

Карета. Порох. Часовня. Я знал эту часовню. Старая, полуразрушенная, на отшибе, в лесу, вдали от людских глаз и дорог; там лежала его мать, и он ездил к ней каждый год, в любую погоду, и это был тот самый день, о котором он передал мне через Эжена: поеду, как всегда, а после заеду за тобой. Мы прятались в этой часовне от дождя, когда нам было по десять, и Волк показывал мне надпись на плите, и водил по буквам пальцем, и не плакал, потому что я смотрел.

Больше в письме не было ничего. И это было хуже подробностей: подробности можно было бы ненавидеть, а тут была только бумага, прорванная пером, и я стоял с ней в руке и понимал, что не знаю даже, было ли ему больно.

Я не помню, как вышел из конторы. Кажется, нотариус что-то говорил мне вслед, а я не обернулся. В голове стоял густой, непроглядный туман, как над Сенарис в ноябрьское утро, а в груди зияла пустота. Не просто пустота — омут, который засасывал в себя всё: свет, тепло, надежду. Такая ледяная, обжигающая, мёртвая пустота бывает, наверное, только у тех, кто потерял всё. Кто потерял часть себя, часть своей души.

Я хотел ехать сразу. Я не поехал сразу. Бумаги, которые я не дочитал, надо было дочитать: кредиторы не хоронят друзей, они ждут подписи, и если бы я уехал, не подписав, отец через месяц лишился бы Изабеллы. Я подписывал, не читая, и нотариус, седой человек с добрым лицом, дважды останавливал мою руку и говорил: «Граф, прочтите. Прошу вас». Я не прочёл ни одной. Я пил в те дни так, что подпись выходила разной на разных листах, и нотариус делал вид, что не замечает. Три дня. Это были самые длинные три дня, какие я знал до подвала.

Увидеть Волка. Проститься с ним. Поблагодарить за всё, что было. Поклясться отомстить. Мне удалось это только через неделю после его смерти.

А в это время там, в замке Альди, в старом, обветшалом, пропитанном запахами сырости, плесени и смерти замке, готовились к похоронам. Готовились предать земле то, что осталось от моего друга. Я получал лишь скудные, сухие, безжалостные отчёты от Эжена, который был там с той ночи и которому я написал: останься, сделай всё, что нужно, я заплачу. Чтобы хоть как-то, хоть чем-то помочь. Чтобы хоть немного заглушить, залить вином чувство вины, которое грызло меня изнутри, как червь. Эжен писал по-прежнему коротко: «Гроб заказан. Священник будет. Сестра жива». Про сестру он писал в каждом письме, одним и тем же словом, и я не понял, почему, пока не приехал.

И вот наконец я здесь. Лето в Аквиларии кончалось, и кончалось оно не солнцем, а дождём: сырым, промозглым, с вечной мелкой моросью, со свинцовым, давящим небом и запахом тлена. Запах смерти, казалось, пропитал всё вокруг: землю, деревья, камни, старые стены замка. Даже воздух. Стою у гроба. Закрытого гроба, обитого тяжёлым, чёрным, как сама ночь, бархатом, от которого веет холодом, сыростью и безнадёжностью. В котором лежит то, что осталось от моего друга. От Волка. От того самого мальчика, с которым мы ещё совсем недавно гоняли зайцев по этим самым полям, строили шалаши в этом самом лесу, фехтовали на деревянных мечах, мечтали о подвигах, о славе, о любви.

Лица я не видел. Его не было. Бомба, эта дьявольская штуковина, эта адская машина, не оставляет шансов. Она не просто убивает — она уничтожает. Разрывает на куски, сжигает дотла, превращает в кровавое, неузнаваемое месиво из плоти, костей, волос и надежд.

Как это было, мне рассказал Эжен — у ворот, держа Ветра под уздцы, пока я слезал, коротко, как докладывают о звере, которого не взяли. Свёрток был под сиденьем кареты. Порох, гвозди, осколки стекла, битый камень — всё, что может разорвать, изувечить, убить; адская машина, как их у нас называют, изощрённое, дьявольское изобретение, порождение больного разума. Заложили ночью, в каретном сарае, куда после того, как Волк распустил слуг, не заглядывал никто. Сработало у крыльца, раньше, чем карета тронулась. Больше Эжен не сказал ничего, и я не спросил: я ещё не знал, о чём спрашивать.

И, стоя у гроба, я сложил остальное сам, как складывают след. «Охотник», эта безымянная, безликая тварь, этот зверь в человеческом обличье, ждал. Он послал бродягу с ножом, чтобы Волк убил его и решил, что охота кончена. Он дал ему десять дней спать. А потом заложил свёрток. Он рассчитал всё до мелочей, этот подлец, этот убийца: Волк, несмотря на своё отчаяние, на своё пьянство, на своё безумие, никогда не пропускал день поминовения матери. Всегда, из года в год, в любую погоду, он ездил на её могилу. Охотнику дают имя, привычки и месяц, а поминовение матери — это привычка, о которой знает вся округа. Месяца хватает, чтобы узнать, каким днём и какой дорогой человек ездит на могилу. И хватает, чтобы понять: человек, который две недели не спит с арбалетом, не расслабится, пока не решит, что победил. Ему дали победить. Бродяга с десятью ливрами был не охотник. Бродяга был приманка, и Волк её взял, потому что взял бы любой из нас.

Взрыв. Оглушительный, разрывающий тишину утра. Огонь. Всепожирающий, яростный. Кровь. Липкая, тёмная, густая, с металлическим привкусом. Я не видел этого. Я видел это каждую ночь с тех пор, как сломал сургуч, и теперь, у ящика, обитого бархатом, увидел в последний раз. И всё. Конец. Финал.

Я смотрел на этот чёртов ящик, на этот символ бессилия, на этот гроб, и вспоминал. Вспоминал его улыбку — широкую, открытую, чуть насмешливую. Его хрипловатый смех. Его дурацкие, мальчишеские шутки. Как он выл на луну с крыши конюшни, и псарня отвечала ему. Как он месяц назад сидел напротив меня с арбалетом у тарелки и говорил «тот, кто придёт, тот и будет». Наши детские игры, наши ссоры, наши клятвы. И мне казалось, что всё это было вчера. Так близко, так явственно, так живо.

Но вчера уже не вернёшь. И Волка тоже. Он лежит здесь, в этом тесном, душном, пропахшем ладаном и смертью ящике, холодный, неподвижный, безмолвный. А я стою рядом — живой, дышащий, чувствующий. И беспомощный. Совершенно, безнадежно, до тошноты беспомощный.

Сколько слов осталось не сказано. Не произнесено вслух. Сколько дел не сделано. Сколько невыпитого вина, неспетого, нестанцованного. Сколько всего могло бы быть у Волка, если бы не эта игра, не эта Лига, не его выбор?

И главное: ничего нельзя изменить. Ничего. Я стоял у гроба и злился на него. На Волка. Он сам влез в эту Лигу, сам, из-за женщины, имени которой я не запомнил, из-за денег, которых у него никогда не было; он сам отослал меня, сам поверил бродяге с ножом, сам поехал одной дорогой в один и тот же день, как ездил всегда, — и это он, он сам, а не я, и я имел право злиться. Я злился минуту. Потом злость переворачивалась, как переворачивается лодка, и снизу было то, что под ней: я уехал. Он попросил, и я уехал, потому что мне было удобно, что он попросил. Мы были словно братья, ближе чем братья, и брат не уезжает к тётке. Потом снова злость. Потом снова я. Так они и менялись во мне, как меняются часовые, и ни один не стоял на посту дольше минуты.

Остаётся только сжимать кулаки до хруста в суставах. Ненавидеть — то его, то себя, то того, чьего имени я не знал. И надеяться. Надеяться, что это больше никогда, ни с кем

не повторится. Хотя надежда — такая хрупкая, эфемерная, обманчивая штука. Как бабочка-однодневка.

Похороны. Пышные, торжественные, насквозь фальшивые и лицемерные. Съехалась вся родня, дальняя и близкая, знакомая и незнакомая, нужная и ненужная. Какие-то тётушки, дядюшки, кузены, кузины. Все в чёрном, как стая ворон, слетевшихся на сход, с постными, скорбными, вытянутыми лицами, с заученными, ничего не значащими словами соболезнования. Я узнавал некоторых из них: кого-то смутно припоминал по визитам в замок Альди много-много лет назад, с кем-то встречался в Лютеции, на балах или в салонах. Толстый кузен со стороны отца, который уже дважды спросил у управляющего, кому теперь отойдёт лес. Старый майор, дядя по матери, стоявший навтыжку у гроба, как на смотре, и не проронивший ни слова, — единственный, кому я поверил. Дама в чёрных кружевах, плакавшая так громко, что священник дважды сбивался. Священник Синода, молодой, гладкий, читавший над закрытым гробом слова, которые Волк назвал бы враньём, и делавший это красиво.

Были и те, кого я не знал вовсе. Мне представляли их одного за другим, и я кланялся и не запоминал. Среди них — девушка в чёрном, молодая, из дальней родни: Анжелика Тони, кузина покойного по матери, из обедневшего рода, чьё имение лежало где-то на юге. Она наклонила голову, как требовал этикет, и ни на волос больше, и посмотрела на меня так, как за весь день не посмотрел никто: не с соболезнованием. С чем-то другим, чему я не стал искать имени, потому что у гроба друга не ищут имён чужим взглядам. Я отвернулся к гробу и забыл её, как забыл всех.

И лишь потом, много позже, когда скорбная церемония закончилась, и гости, насытившись зрелищем чужого горя, утешив себя тем, что «слава Богу, не со мной», начали, перешёптываясь, переглядываясь и облегчённо вздыхая, разъезжаться по своим домам и поместьям, я узнал о сестре Волка. Об Элизе.

Оказывается, она тоже была там. Не в карете — у кареты. Волк уже сел, дверцу закрыли, и она выбежала на крыльцо с чем-то в руках: он забыл, она хотела передать. Кучер говорил потом — цветы. Свежие, для могилы, из сада, которые Волк каждый год срезал сам и в этот раз забыл. Она подошла к дверце, подняла руку, Волк наклонился к окну. И раздался взрыв.

Её нашли под обломками кареты, без сознания, всю в крови. Думали — не выжила. Но она выжила, потому что стояла снаружи и потому что дверца и стенка кареты приняли на себя то, что летело вниз. То, что летело вверх, в окно, к которому она подняла лицо, не приняло ничего. Осколки стекла, щепки, куски металла. Они оставили свои отметки. Навсегда. Цветы, говорил кучер, так и лежали на дорожке, целые.

Врачи, лучшие лекари Лютеции, сделали всё, что могли. И даже больше. Они спасли ей жизнь. Но красота Элизы, той девочки, которую мы звали Хвостиком и которая при нашей последней встрече превратилась в прекрасного ангела, была потеряна. Безвозвратно.

«Сестра жива». Теперь я понял, почему Эжен писал только это. Больше он написать не мог. Он лесник, а не лекарь и не поэт; он видел, что от неё осталось, и нашёл единственные два слова, в которых не было лжи.

Позже, когда все уже разъехались и замок погрузился в тишину, я случайно — или неслучайно? — встретил Элизу в одной из дальних комнат замка. Она стояла у окна, закутанная в тёмный плащ, с опущенным капюшоном. Я заметил, что её лицо скрывает тонкая вуаль. Она что-то тихонько, почти беззвучно напевала. Мелодия была грустной. Я узнал её: эту песню пела их мать, укладывая маленькую Элизу спать, а мы с Волком подслушивали под дверь и давились смехом, потому что были мальчишками и потому что в песне было слово «сердечко». Я подошёл ближе, не зная, как начать разговор.

— Элиза. Глубоко соболезную и скорблю, — наконец с трудом выдавил я из себя.

Она вздрогнула, словно от неожиданности.

— Граф Плеси. Лео. Я не видела тебя. Прости.

Голос был тот же. Звонкий девичий голос, который месяц назад кричал мне через дверь: «Открывай, кому говорят!» Только теперь он звучал из-под вуали, и вуаль чуть шевелилась от дыхания, и я смотрел на эту вуаль и не мог заставить себя смотреть куда-то ещё.

Я попытался заговорить снова, или уйти, или начать другой разговор, но мы просто молчали, словно не зная, что делать дальше, о чём говорить. И нужно ли тут говорить. Она не подняла вуали. Я не попросил. Она не протянула руки. Я не протянул своей. Так мы и стояли, и дождь стучал в окно, и где-то внизу слуги, вернувшиеся на похороны, гремели посудой так, будто ничего не случилось. Потом она сказала: «Иди, Лео», и я ушёл, и это было единственное, что она попросила у меня за весь день.

А затем, в другом коридоре замка, я встретил Анжелику Тони. Или это она меня подкараулила.

Здесь, без толпы, без родни и священника, я впервые её увидел.

Девушка. Молодая, хрупкая. Но в этой хрупкости, в этой, казалось бы, беззащитности чувствовалась сталь. Невидимый, но осязаемый стержень. Красивая. Но красота её была какой-то особой. Холодной, отстранённой, словно она была не здесь, не с нами, не в этом скорбном зале, а где-то далеко-далеко. В другой жизни. И в то же время в ней чувствовалась сила. Внутренняя сила, воля, характер. Словно она была выкована из той же стали, что и клинки лучших мастеров Клингена.

И взгляд. Этот пронзительный, обжигающий, словно раскалённое добела железо, взгляд, который, казалось, видел меня насквозь, до самого дна души, до самых тёмных её закоулков. Взгляд, в котором читалась ненависть. Да. Ненависть, презрение и боль.

— Мадемуазель Анжелика, — наконец с трудом выдавил я из себя, и собственный голос показался мне чужим, хриплым, надтреснутым, словно я не говорил несколько дней. — У меня такое чувство, такое ощущение, что вы меня в чём-то вините. В чём-то обвиняете. И, возможно, вы правы. Но могу ли я узнать, в чём именно?

Она медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, как во сне, повернулась ко мне, и я снова, уже в который раз за этот чёрный день, встретился с этим взглядом — холодным, колючим, как осколок льда, и в то же время обжигающим, как пламя адского костра.

— Граф Плеси, — произнесла она, и голос её, тихий, но отчётливый, словно выкованный из той же стали, что и её взгляд, прозвучал как приговор, как вердикт, не подлежащий обжалованию, — вы не ошиблись. Вы проникательны. Я не могу понять, как вы, Ловкий Руди, могли допустить, как вы могли позволить, чтобы мой кузен так погиб. Так нелепо, так страшно, так беззащитно.

Ловкий Руди. Да, было такое прозвище. Кличка, придуманная моими приятелями-собутельниками в Лютеции. За меткость, за ловкость, за невероятное, дьявольское везение. За то, что я всегда, словно заговорённый, словно родившийся в рубашке, выходил сухим из воды. Из любой, самой опасной, самой смертельной передраги, из любой игры. Прозвище это докатилось, оказывается, и до южных имений, и звучало в её устах так, будто она держала его двумя пальцами, как дохлую мышь.

— Я помню, — продолжала она, и в её голосе, помимо боли, горя и ненависти, зазвучали стальные, острые, режущие нотки, — я помню, как вы хвастались. На одном приёме, в Лютеции. Вы говорили, что знаете человеческую душу, как свои пять пальцев. Что вы мастер любого оружия, любого клинка. Что для вас нет ничего невозможного. Вы ещё метали ножи в яблоко, которое стояло на голове у какого-то бедняги, слуги. Ради забавы. Ради аплодисментов. Ради восхищённых взглядов женщин.

Яблоко. Ножи. Да, кажется, было что-то такое. Давным-давно, когда я только-только приехал в Лютецию и, как щенок, брошенный в бурлящую реку, барахтался, пытаюсь выплыть, пытаюсь не захлебнуться, пытаюсь забыться, заглушить боль, тоску, отчаяние. Пьянство, карты, женщины, дуэли. Всё это было. Всё это было так давно, в другой жизни. Я не помнил её на том

приёме. Я никого не помнил с тех приёмов, кроме слуги с яблоком: он был бледен и не моргал, и после третьего ножа я дал ему золотой, и он его не взял.

— Вы хвастались, — повторила она, словно гвозди в крышку гроба заколачивая, и каждое её слово, как отравленный дротик, как игла, вонзалось в моё сердце, в мою душу, — своей силой, своей ловкостью, своим бесстрашием. Своим дьявольским везением. А что же теперь? Где же была ваша хваленая сила, ваша ловкость, ваше везение, когда ваш друг, когда мой кузен нуждался в вас? Он ждал помощи! А вы не помогли. Вы предали его. Вы позволили ему умереть.

Она запнулась, не в силах, видимо, продолжать. Слезы, которые она так долго и так мужественно сдерживала, хлынули из её глаз, обжигая щёки, оставляя мокрые, солёные дорожки.

— Я знаю, кто вы, — прошептала она сквозь рыдания. — Я всё знаю. И мне совершенно всё равно, что вы обо мне думаете. Какое мне дело до ваших мыслей, до ваших чувств. Потому что я больше не хочу с вами разговаривать. Никогда. Ни о чём. Прощайте, граф. Прощайте, Ловкий Руди. Наслаждайтесь своей жизнью. Пейте, гуляйте, развлекайтесь, любите. Как тот, кто убил моего кузена. Убил и даже не вспомнил о нём. И о его сестре.

И она ушла. Быстрым, решительным шагом, не оглядываясь. Словно призрак. Словно наваждение. Словно совесть. А я остался стоять, словно громом поражённый, пригвождённый к месту, к этому паркету. Её слова, её обвинения, её боль, её ненависть — всё это обрушилось на меня, как лавина, сметая всё на своём пути, лишая сил, лишая воли, лишая желания жить.

И я не мог не признать, что она права. Она была права. Во всём. До конца. Я виноват. Я предатель. Я не смог. Я не успел.

Волк сказал: уезжай, я справлюсь. Я уехал. Волк передал: он промахнулся, теперь моя очередь, сиди. Я сел. Я мог не сесть. Я мог хотя бы подумать о том, что охотник, который посылает бродягу с десятью ливрами, — это охотник, который не хочет подходить сам, и спросить себя почему. Я мог остаться в кустах у часовни с арбалетом в день поминовения, как оставался когда-то с Эженом в засаде на кабана, час, два, три, не шевелясь. Я умел это. Я умел это лучше всех, кого знал. И я поехал в Лютецию подписывать бумаги, потому что друг сказал «всё кончено», а мне было удобно, чтобы всё было кончено.

Чувство вины. Тяжёлое, липкое, удушающее, как болотная трясина. Оно навалилось на меня всем своим весом, придавило к земле, не давая ни вздохнуть, ни пошевелиться, ни думать. Я должен был что-то сделать. Что-то предпринять. Что-то исправить.

И тут я вспомнил. Вспомнил, словно во сне, словно в бреду, словно в откровении, одно из правил. Нет, не правил — условий Лиги Вольных Игроков. Той самой Лиги, которая отняла у меня друга. То самое условие, о котором Волк сказал за столом мельком, между двумя глотками, и которое я тогда пропустил мимо ушей, потому что оно не касалось его. Оно касалось новичков.

Только что вступивший в Лигу новичок, зелёный юнец, мог подать заявку на убийство определённого человека. И если этот человек тоже был членом Лиги, Лига принимала заявку. Что ж, тем лучше. Тем проще. Тем справедливее.

Охотник Волка был членом Лиги. Это единственное, что о нём было известно наверняка. Ни имени, ни лица, ни следа — ничего, кроме этого. И Лига знала его имя. Лига всегда знает имена: наблюдатель записал его в книгу в тот день, когда открыл охоту. А имена из своей книги Лига называет только своим. Охотнику — имя его дичи. Никому больше.

Чтобы узнать, кто убил Волка, нужно было стать одним из них.

Встреча с Анжеликой, при таких, невыносимо трагических, обстоятельствах, стала для меня знаком. Её слова, её гнев, её боль, её ненависть словно выжгли, вытравили во мне все сомнения, всю неуверенность, всю слабость. Я понял одно. Судьба давала мне шанс. Возможно, единственный. Последний. Шанс отомстить. За себя. За Волка. За Элизу. За всё.

И я должен им воспользоваться. Любой ценой. Любыми средствами. Я заглянул в глаза самой Смерти. В её пустые, холодные, безжалостные глазницы. И я не отступлюсь. Я не сдамся. Я выживу. И отомщу.

Решение было принято. Мгновенно, бесповоротно, окончательно. Словно выстрел в упор. Словно удар клинком в сердце. Я должен был найти убийцу Волка. И убить его. Сам. Своими руками. Своими окровавленными руками. Другого пути у меня нет. А что дальше — уже, наверное, не важно. Решу потом.

Я покинул замок Альди, этот памятник моему бессилию, не прощаясь ни с кем. Не сказав ни слова. Ни Элизе за её вуалью, ни Эжену, который стоял у конюшни и смотрел на меня как смотрел когда-то, когда я бил не в ту сторону от следа, и молчал, потому что знал, что я не услышу. Просто сел на своего верного, загнанного Ветра и ускакал прочь. Туда, где, как я надеялся, меня ждала справедливость. Или смерть. Иного не дано.

Глава 5. Первая охота

Рудольф

В Лигу не вступают во дворце. В Лигу вступают в таверне.

Она стояла на окраине Лютеции, там, где город уже кончился, а поля ещё не начались, и называлась никак: вывеска сгнила лет двадцать назад, и никто её не сменил. Внутри пахло прокисшим пивом, сырой соломой и почему-то ладаном, как в церкви, где давно не служат. За стойкой дремал хозяин, за столами не было никого, и я решил было, что ошибся адресом, когда человек, которого я не заметил, потому что он сидел в тени у самой двери, сказал, не поднимая головы:

— Граф Плеси. Вас ждали.

Он не спросил моего имени. Ему его сказали. Кто — я не узнал ни тогда, ни потом: у Лиги много ушей, и кто-то из них слышал, как я ругал её вслух на похоронах.

Контракт был короткий. Одна страница плотной бумаги, тот же герб, клинок и арбалет на окровавленной луне, и строк на ней было меньше, чем в договоре о найме кухарки. Я прочёл его дважды. В нём не было ни слова «убийство», ни слова «смерть». Было слово «охота», слово «участник» и слово «навсегда». Внизу — место для подписи и место для отпечатка перстня, если у участника есть перстень. У меня был. Я приложил его к сургучу, и печать Плеси, которую отец ставил на купчие и письма к епископу, легла рядом с гербом Лиги, как рука на плечо.

— У новичка есть право, — сказал человек в тени. — Вы о нём знаете, иначе бы не пришли.

— Я хочу того, кто был охотником графа Альди.

Он не удивился. Он ничему не удивлялся. Открыл книгу, толстую, в чёрной коже, такую же, как та, что курьеры носят по домам, только в сто раз тяжелее, перелистал, нашёл, провёл пальцем по строке. Потом взял карточку, написал на ней несколько слов и подал мне через стол.

«Филипп Кассель, виконт. Поместье Кассель, три дня пути по Северному тракту. Двадцать шесть лет. Женат».

— Кто это? — спросил я.

— Никто, — ответил он. — Такой же, как вы. Такой же, как граф Альди. Уведомление ему повезут сегодня. Две недели — его, по правилам: он будет знать, что за ним придут, и не будет знать кто. Потом месяц — ваш. Наблюдатель будет там раньше вас. Вы его не увидите. Он увидит всё.

Я перевернул карточку. На обороте было пусто. Я не знаю, чего я ждал: лица, причины, чего-то, что сделало бы это имя больше, чем имя. Ничего. Двадцать шесть лет. Женат.

— Он воспользовался порохом, — сказал я. — Не клинком. Порохом, в карете, где сидела женщина.

— Правила не запрещают порох, — сказал человек в тени. — Правила запрещают только одно: дичи — бить первой. Он был охотником. Теперь он дичь. Всё остальное — ваше дело, граф.

Я вышел. Дверь скрипнула за спиной так, будто её закрывали в последний раз.

Две недели я ждал в Лютеции, как велят правила, и не помню их: пил и не пьянел, и каждое утро считал, сколько ему осталось знать, что за ним придут. Потом три дня по Северному тракту я ехал медленно. Не потому, что Ветер устал, — Ветер отдохнул за две недели и рвался вперёд, — а потому, что впервые в жизни ехал убивать, зная об этом заранее, и обнаружил, что это совсем не то, что ехать драться. Драться я ездил много раз. На мосту, в саду за оперой,

в поле у заставы, где секунданты держали фонари, потому что было ещё темно. Ты едешь и злишься, или боишься, или смеёшься, и всё это кончается через четверть часа, и кто-то пере-вязывает кому-то руку. Здесь было иначе. Здесь я знал имя. Двадцать шесть лет. Женат.

Я представлял его себе по-разному. Толстым и трусливым, как чиновник, которого Волк «заколот, как свинью». Сухим и жестоким, с глазами без дна. Похожим на кого-то из моих собутыльников, из тех, кто смеялся громче всех, когда я метал ножи. Ни один образ не держался дольше лиги пути. К вечеру третьего дня я перестал его представлять.

Поместье Кассель оказалось меньше, чем я думал, и беднее, чем можно было думать. Одноэтажный дом с покосившейся башенкой, которую кто-то когда-то пристроил, чтобы было похоже на замок, и не достроил. Сад, где яблони росли вперемешку с капустой. Забор, поваленный в двух местах и подпёртый жердями. Из трубы шёл дым: тонкий, хозяйственный, такой, каким топят кухню, а не залы. Я остановил коня на холме и долго смотрел на этот дом. Он был как замок Альди, только без замка. Такой же долг, такое же имя, такая же гордость, только у Альди была ещё история, а здесь не было и её.

Охотник имеет право первого удара. Любым способом. Я мог остаться на этом холме до ночи, как учил Эжен: не шевелясь, пока не отнимутся ноги. Мог дожидаться, когда он выйдет к колодцу, или к лошадям, или просто постоять на крыльце, — и это была бы охота по правилам, чистая и тихая, и наблюдатель, которого я не видел, записал бы в свою книгу «победа». Волк не увидел своего охотника. Никто и ничего не обязывало и меня.

Я спустился с холма и поехал к воротам открыто, шагом, как гость.

Не знаю, что это было. Не благородство: я ещё не знал тогда этого слова в его настоящем значении, я знал только его светский смысл. Скорее, я не хотел быть тем, кто подкладывает свёрток в карету. Я хотел, чтобы он увидел меня. Чтобы знал. Волк не знал — и мне казалось, что это было хуже самой смерти.

Ворота были открыты. Собака залаяла, потом узнала во мне чужого и залаяла по-настоящему. На крыльцо вышла женщина, молодая, в переднике, с мукой на руках — она пекла что-то, и запах хлеба вышел на крыльцо вместе с ней. Она посмотрела на меня, на коня, на шпагу и всё поняла быстрее, чем я успел снять шляпу. Я видел это по её рукам: она вытерла их о передник, медленно, дважды, как вытирают, когда больше нечего делать.

— Виконт Кассель дома? — спросил я.

Она не ответила. Она обернулась к двери, и в двери уже стоял он.

Он был моложе меня. Светлые волосы, из тех, что рано редеют, узкое лицо, которое, наверное, было красивым, когда его не тянуло страхом. На нём был домашний камзол с протёртыми локтями и, что я заметил сразу, шпага. Он носил её дома. Две недели, с того дня, как получил конверт, он, видимо, не снимал её даже за столом. Как Волк — арбалет.

— Я знаю, кто вы, — сказал он. Голос был ровный. Он готовился к этому голосу две недели.

— Тогда вы знаете, зачем я здесь.

— Знаю. — Он посмотрел на жену. — Иди в дом, Мари. Иди, прошу тебя.

Она не пошла. Она стояла между нами, и ей нужно было сделать всего два шага, чтобы оказаться там, куда я бы не смог ударить, и она их не делала. Тогда он взял её за плечи, повернул и завёл в дом сам, и закрыл дверь, и остался на крыльце. Я слышал, как за дверью что-то упало. Кажется, миска.

— Вы могли выстрелить с холма, — сказал он. — Я видел вас. Я стою у этого окна две недели.

— Мог.

— Почему не выстрелили?

Я не ответил, потому что не знал ответа, который мог бы произнести вслух. Вместо этого спросил то, что вёз с собой три дня:

— Почему порох?

Он вздрогнул так, будто я всё-таки выстрелил.

— Я видел, как он дерётся, — сказал он тихо. — Год назад, на ярмарке в Ардо, он дрался с двумя из-за какой-то ерунды, из-за лошади, и я смотрел из окна трактира. Я понял, что не выстою против него и минуты. А у меня долг за этот дом, и ещё за отцовский, который уже продан, и Мари, и я вступил в Лигу, потому что четыре охоты — и всё, приз, и можно жить. Я не знал, что первой охотой мне дадут его. Я думал, дадут кого-нибудь... — он не договорил. — Мне дали его имя и месяц. Я неделю смотрел на его дом издали и видел, что он не спит. Что у него люди на дорогах. Что он не ездит одной дорогой дважды. К такому не подойти. Тогда я нашёл бродягу. Заплатил десять ливров, сказал: подойдёшь ночью с ножом, сделаешь вид, отбежишь, это пари. Он не отбежал. Ваш друг убил его раньше, чем тот понял, что не отбежит. — Виконт посмотрел на свои руки. — Я этого не хотел. Я хотел, чтобы ваш друг решил: охотник приходил и промахнулся. Чтобы он лёг спать. Он лёг. А потом я нашёл человека, который умеет делать эти свёртки. В Лютеции их делают. Это стоит недорого.

— У кареты была его сестра.

Он закрыл глаза.

— Я не знал. Клянусь вам всем, что у меня есть, я не знал. Он ездил один. Каждый год один, мне сказали, что один. Когда я узнал, я... — он открыл глаза, и в них не было слёз, в них было что-то хуже. — Я знал, что кто-то придёт. Правила такие. Я думал, что это будет справедливо. Бродяга, потом свёрток, потом вы. Всё по правилам. Я думал, правила — это и есть справедливость.

Мы стояли и смотрели друг на друга, и собака перестала лаять, и было слышно, как в доме плачет женщина, стараясь плакать тихо.

Я мог убить его на этом крыльце одним движением. Он это знал, и я это знал, и наблюдатель, сидевший, наверное, где-нибудь за поваленным забором, знал тоже. Я не сделал этого движения. Я не могу объяснить почему, как не мог объяснить, почему не выстрелил с холма. Что-то во мне, чему Эжен не учил и корпус не учил, отказывалось убивать человека, который стоит, опустив руки, на собственном крыльце.

— У вас есть шпага, — сказал я. — Обнажите её.

Он посмотрел на меня так, будто я предложил ему что-то непристойное.

— Я не выстою и минуты.

— Тогда это будет короткая минута. Но это будет ваша минута, а не свёрток в карете. Выбирайте, виконт.

Он выбрал. Я до сих пор не знаю, из гордости или потому, что за дверью была Мари, и он не хотел, чтобы она услышала, как его убивают, как убивают скот. Он сошёл с крыльца, встал в траву, обнажил шпагу, и я увидел, что он действительно не выстоит: он держал её, как держат в первый месяц в корпусе, слишком крепко, слишком высоко, и рука дрожала.

Это была даже не минута. Он сделал выпад — отчаянный, слепой, такой, каким дерутся не для того, чтобы победить, а чтобы это кончилось. Я ушёл в сторону, и он открылся весь, от горла до пояса, и я мог выбрать. Я выбрал сердце, потому что это быстро.

Он не упал сразу. Он постоял, глядя не на меня, а на дверь, и сказал что-то, чего я не расслышал, а потом сел в траву, как садятся уставшие, и лёг.

Дверь распахнулась. Мари выбежала, не крича, — она, кажется, выкричала всё за дверью, — упала рядом с ним на колени и стала вытирать ему лицо передником, тем самым, в муке, и мука оставалась на его щеках белыми полосами. На меня она не смотрела. Меня не было. Я стоял в трёх шагах с окровавленной шпагой и не существовал.

Я вытер клинок о траву. Вложил в ножны. Сел на коня. Всё это я делал очень медленно и очень точно, как делают что-то в первый раз, когда тело не знает, что дальше. У ворот я оглянулся. За поваленным забором, шагах в пятидесяти, стоял человек в сером плаще и что-то

писал, положив книгу на верхнюю жердь. Он поднял голову. Кивнул мне, вежливо, как кивают знакомому на улице. И вернулся к книге.

Так я узнал, как выглядит наблюдатель. Как никто. Как все.

Обратно по Северному тракту я ехал быстро. Не от погони — за мной никто не гнался, всё было по правилам, всё было законно, король Аквиларии сам подписал закон, по которому я только что убил человека на его собственной земле, у его собственной жены на глазах. Я гнал, потому что не мог быть медленным. Быстрота была единственным, что отделяло меня от того, что осталось на траве у крыльца.

Я думал, что почувствую что-то. Волк был отомщён. Я сделал то, что поклялся сделать у закрытого гроба, и сделал сам, своими руками, как хотел. Я ждал, что придёт если не радость, то хоть тяжесть, спадающая с плеч, хоть тот вздох, который делают, закрыв за собой дверь. Ничего не пришло. Внутри было пусто и ровно, как в комнате, откуда вынесли мебель. Волк не встал из гроба. Лицо Элизы не срослось. Женщина в переднике осталась стоять на коленях в траве, и мука на щеках её мужа тоже осталась. Единственное, что изменилось в мире, — в нём стало на одного игрока меньше. На одного такого же, как мы.

На постоялом дворе я велел принести воды, снял рубашку и долго мыл руки. Крови на них не было: я вытер клинок, а рукоять была чиста. Я мыл их всё равно, пока вода не остыла, и, глядя на свои руки в тазу, понял то, чего не понимал ни в корпусе, ни на мосту, ни в саду за оперой. Меня научили убивать. Меня никто не научил, что делать потом.

В Лютецию я вернулся Ловким Руди. Прозвище висело на мне, как чужой плащ, и я снова надел его. Той осенью я пил как не пил никогда, дрался на дуэлях из-за взглядов и слов, играл на всё и выигрывал, и снова метал ножи в яблоко на голове у слуги, потому что публика помнила и просила, и публика аплодировала, и никто не спрашивал, зачем мне это. Я и сам не спрашивал. Я знал, что теперь я член Лиги, что четыре охоты — это четыре, а не одна, и что следующие две я буду дичью. Я не думал об этом. Я жил как живут, чтобы не думать: громко, быстро, при свидетелях.

О виконте Касселе я не рассказывал никому. Никто и не спрашивал. В Лиге не принято спрашивать, кого ты убил. В Лиге принято спрашивать, сколько у тебя осталось охот.

Из книги Лиги

Лист двести сорок первый

Год двадцать второй от указа. Осень, второй месяц, день девятый.

Охотник: Р. П., граф, новичок. Право новичка использовано.

Дичь: Ф. Кассель, виконт, вторая охота (первая — охотником; исход: победа; примечание к той записи: подставное нападение наёмным лицом, лицо погибло; затем карета, порох; свидетель — сестра дичи, жива).

Место: поместье дичи, Северный тракт, три дня от столицы.

Ход: охотник подъехал открыто. Первого удара с расстояния не было. Предложил дичи оружие. Дичь приняла. Исход: победа охотника. Клинок, грудь, один удар.

Примечание: охотник мыл руки на постоялом дворе. Крови на них не было.

Осталось охот: три.

Подпись наблюдателя: —

Глава 6. Игра по-крупному

Рудольф. Лютеция, день четырнадцатый

Конверт лежал на моём столе в кабинете, и я не открывал его. Открывать было нечего: имени в нём не было. В первом конверте имени никогда не бывает. Первый конверт — это только объявление охоты и печать, скрещённые клинок и арбалет; второй, с именем дичи, приносят через две недели. Так устроил тот, кто это придумал. Тридцать лет назад.

Примерно тридцать лет назад, с лёгкой руки Главного канцлера, тогда ещё, казалось, молодого и неопытного, король Этьен издал новый закон. Указ, призванный, якобы, унять кровопролитие в королевстве, искоренить, так сказать, насилие в зародыше. Логика была проста, как всё, что предлагают королям: если благородные люди всё равно убивают друг друга на дуэлях, тайно, по ночам, за оперой, то пусть делают это открыто, по правилам, с пользой для казны и под присмотром. И для этого была создана «Лига Вольных Игроков» — единственное законное объединение, членам которого разрешалось убивать. Убивать друг друга. По правилам, разумеется. В рамках, так сказать, закона.

Старинная забава аристократии — охота. Охота на самого опасного зверя на свете — на человека. Цинично? Да. Жестоко? Безусловно. Но законно. И, что самое главное, добровольно. Никого не принуждали вступать в Лигу. Все, кто подписывал контракт, делали это осознанно, понимая, на что идут и с чем им придётся столкнуться. Я подписывал его в таверне без вывески, с перстнем отца в руке, и понимал всё. Так мне тогда казалось.

Правила были просты и жестоки. Волк рассказал мне их за столом, с арбалетом у тарелки, и с тех пор я узнал остальное — то, что дичь знать не обязана, а охотник узнаёт на собственной шкуре.

Наблюдателя я видел одного. Серый плащ, книга на жерди забора, вежливый кивок. Больше я не видел ни одного, и это не значило, что их не было рядом.

Я знал игру с обеих сторон. Я дважды был дичью, и оба раза остался жив, и о том, чего это стоило, не рассказывал даже Анжелике. Она не спрашивала. Она умела не спрашивать лучше, чем я умел молчать.

Вступить в Лигу мог любой желающий, независимо от сословия, происхождения, богатства. Молодые повесы, ищущие острых ощущений, зрелые мужчины, уставшие от скучной, размеренной жизни, авантюристы, игроки, убийцы. Все они с лёгкостью, с бравადой, с обречённостью подписывали контракт, ставя на кон свою жизнь. В народе, конечно, ходили слухи, что и сам Главный канцлер, и даже, кто бы мог подумать, сам принц Альберт тоже являются членами Лиги. Но я в эти байки не верил. Слишком неправдоподобно. Канцлер, который тридцать лет плёл законы, не станет играть по собственным. А принц... Принца я видел дважды, издали, на приёме и на королевской охоте: красивый мальчик в камзоле, стоявшем дорожке моего дома, окружённый людьми, которые смеялись раньше, чем он договаривал шутку. Такие не играют. За таких играют другие.

Выживших во всех четырёх охотах на моей памяти ещё не было. Ни одного. Я знал имена тех, кто дошёл до третьей. Четвёртой не пережил никто. Об этом в Лиге тоже не принято говорить, но это единственное, о чём там думают все.

Я не хотел такой участи. Никогда не хотел. Но жизнь распорядилась иначе, и спрашивать её, почему, было так же бесполезно, как спрашивать море. Я трижды откладывал своё участие в игре. Я исчерпал отсрочки. И теперь у меня не было выбора.

У меня было всё. Всё, о чём только можно мечтать: положение в обществе, богатство, уважение. И она. Анжелика. Моя Анжелика. Та, ради которой я готов был на всё. Даже на смерть.

Я не сомневался в своём решении. Я должен был это сделать. Не ради славы, не ради денег, не ради острых ощущений. А ради неё. Ради Анжелики. Ради нас. Ради того, что было ещё невидимо под моей ладонью.

Именно ради неё, по иронии судьбы, я когда-то вступил в эту проклятую Лигу. Не ради неё самой, тогда я не знал её, — ради её слов, сказанных мне в коридоре замка Альди, и ради взгляда, которым они были сказаны. И ради неё же я собирался закончить.

Две недели. Две недели, отпущенные мне на подготовку, пролетели, как один миг. Как вспышка молнии. Я перестал считать дни, часы, минуты. Я жил одним — предстоящей охотой. Я не знал имени и готовился как готовятся к неизвестному: ко всему. Утром — клинок, до седьмого пота, в зале, который прадед построил ещё для деда. Днём — люди. У меня было мало друзей и много знакомых, и в эти две недели я обошёл всех знакомых, у кого мог понадобиться что-нибудь: чертёж, слово, лицо. Вечером — карты Лютеции, разложенные на столе в кабинете, и я сидел над ними, как сидел когда-то Эжен над следами, и учил город как не учил его за все годы жизни в нём. Анжелика приносила свечи и уходила. Один раз она осталась и долго смотрела на карту, а потом провела пальцем по реке и сказала: «Здесь мы гуляли в первую неделю». И ушла. Больше она к карте не подходила.

Анжелика всё понимала. Без слов. Без объяснений. Она, как никто другой, чувствовала меня, знала меня. Когда пришёл курьер из Лиги с конвертом, в котором было имя, она лишь спросила:

— Сколько тебе нужно времени?

— Месяц, — ответил я, даже не взглянув на конверт. — Не больше месяца. Если всё закончится раньше, я дам тебе знать.

— Я собиралась навестить отца, — сказала она, и в её голосе я уловил что-то. Грусть? Тревогу? Страх? — У него нелады со здоровьем. Я уеду завтра.

Отец её жил на юге, в имении, которое называлось по имени рода, Тони, и которое я видел один раз, когда просил её руки. Барон принял меня тогда в кабинете, полном книг и трубочного дыма, и говорил со мной так, будто я пришёл покупать у него лошадь, а не дочь, и я его за это уважал. Здоровье у него было железное. Она это знала. Я знал, что она знает. Мы оба сделали вид, что поверили.

— Хорошо, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, спокойно, уверенно. — Это правильно.

В комнате повисла тишина. Тяжёлая, давящая, гнетущая.

— Скажи... — Она не выдержала. Женское любопытство, женская тревога. — Скажи хоть: кто?

— Мне пока не интересно, — соврал я, откладывая конверт в сторону. — Потом. Позже.

Я не лгал ей раньше. Это была первая ложь за четыре года, и она была маленькая, и я запомнил её как запоминают первый шрам.

В ту ночь. В ту последнюю ночь перед разлукой, перед неизвестностью, мы были другими. Не было ни страсти, ни безумства, ни жажды. Была лишь нежность. Бесконечная, всепоглощающая, пронзительная нежность. Мы словно прощались. Прощались навсегда. Она не играла в «не поймаешь». Она лежала, положив голову мне на плечо, и дышала так тихо, что я несколько раз проверял, дышит ли, и она, чувствуя это, каждый раз чуть сжимала пальцы на моей груди: здесь.

Я смотрел на неё, спящую, такую беззащитную, такую мою, и пытался запомнить каждую черту её лица, каждый изгиб её тела, каждый вздох. Я гладил её волосы, вдыхал их аромат, целовал её веки, её губы. И я знал: я должен вернуться. Должен. Ради неё. Ради нас.

— Всё будет хорошо, — прошептал я, сам не веря своим словам. — Всё обязательно будет хорошо. Мы справимся.

Утром, перед её отъездом, я не стал устраивать сцен прощания. К чему эти лишние слова, эти слёзы, эти клятвы? Мы и так всё знали. Всё понимали. Без слов. Бернар вынес её сундук, и я заметил, что сундук маленький, на неделю, не на месяц, и ничего не сказал. Она заметила, что я заметил. Мы умели молчать вдвоём так, что это было громче любого разговора.

Я лишь поцеловал её. Долго, крепко, жадно. Словно пытаюсь вложить в этот поцелуй всю свою любовь, всю свою нежность, всю свою боль.

— Я верю в тебя, — сказала она, улыбаясь. — Я знаю, что ты вернёшься. Всё будет хорошо.

И уехала. Карета свернула за угол, где стоял пёс, тот самый, что был в утро первого конверта, и пёс проводил её взглядом и не завыл, и я поймал себя на том, что счёл это добрым знаком, и обозлился на себя за суеверие. А я остался один. Один на один со своей судьбой.

Я поднялся в свой кабинет, взял в руки конверт, который принёс курьер. Медленно, словно во сне, сломал печать, развернул плотную, пахнущую воском бумагу. Одна строка. Лига не тратит чернил.

«Принц Альберт».

Вот оно что. Значит, всё-таки. Значит, слухи не ввали. Значит, я был неправ, когда смеялся над байками. И значит, тот, кто составлял пары, знал, что делает: он поставил меня против единственного человека в королевстве, которого нельзя убить, не потеряв всё, и которого нельзя не убить, не потеряв жизнь.

Судьба снова посмеялась надо мной. В тот момент, когда я думал, что обрёл всё, она решила отнять у меня всё. И заставить бороться. Бороться за свою жизнь. За свою любовь. За своё будущее.

Я положил бумагу на карту Лютеции. Она легла как раз на дворец.

Что ж. Я принимаю вызов. Я готов.

Глава 7. Главный канцлер

Канцлер. Ночь перед приёмом

Книга лежала перед ним раскрытой. Лист триста двадцать четвёртый, чёрная кожа, страницы в потёках воска: её приносили ему из таверны без вывески раз в месяц, ночью, и уносили до рассвета, и за тридцать лет ни один человек, кроме него и того, кто носил, не держал её в руках. Пара была вписана две недели назад, его почерком, тем же, что и на всех листах до этого, потому что наблюдателя к каждой паре назначал он, и назначал всегда своего: человека из таверны без вывески, чьи донесения он переписывал в книгу своей рукой. Р. П. — А. Четвёртая охота — вторая. Чернила высохли. Он смотрел на эти буквы, как смотрят на ход, сделанный давно и ещё не оплаченный, и ждал, когда принесут перстень с королевской печатью, который король снимал на ночь и клал на стол в соседней комнате.

Его Превосходительство, Главный канцлер Аквиларии, Огюст Монфор, любил свою власть. Не ту показную, формальную власть, ограниченную законами, традициями, этикетом и прочей, по его мнению, чепухой, а ту истинную, тайную, почти безграничную власть, которая позволяла ему дёргать за ниточки, управлять судьбами людей, словно марионетками в искусно поставленном кукольном театре. Он не упивался ею. Он работал ею, как работают инструментом, который тридцать лет лежит в одной руке.

Он был прирождённым политиком. Пауком, терпеливо плетущим свою паутину и поджидающим жертву. Он знал человеческие слабости, пороки и страсти и использовал их с холодным расчётом. Он знал, чем зацепить и на что надавить. А когда жертва наконец попадалась, он не торопился и не радовался: он подходил и заканчивал, как заканчивают работу, которую нельзя оставить на завтра.

Аквилария. Огромное, могущественное королевство, раскинувшееся от заснеженных Гарнских хребтов до лазурных берегов Тёплого моря. Страна с долгой историей и запутанной, как лабиринт, системой управления. Король, Совет Двенадцати, Верховный Суд, Священный Синод, гильдии, цеха, ордена, тайные общества. Каждый тянул одеяло власти на себя. И во всём этом хаосе Главный канцлер чувствовал себя как рыба в воде.

Формально власть в Аквиларии принадлежала королю, Этьену XIV, человеку, в общем-то, доброму, но слабовольному, больше озабоченному балами, охотой и дорогими винами, чем государственными делами. Так о нём говорили при дворе, и канцлер не мешал так говорить: слабого короля никто не боится, а значит, никто не приглядывается к тому, кто стоит у него за плечом. Настоящая же власть была сосредоточена в руках Совета Двенадцати, самых влиятельных и самых изворотливых аристократов королевства. И Главный канцлер, разумеется, занимал в этом Совете особое место.

Он был серым кардиналом Аквиларии: тем, кто принимал настоящие решения и определял судьбу не только людей, но и королевства. Король доверял ему. Безгранично. Слепо. Он видел в Огюсте Монфоре не слугу и не советника, а друга. Самого близкого.

Внешне Главный канцлер был неприметен. Среднего роста, худощавый, с бледным, вытянутым лицом, тонкими губами и холодными глазами, которые, казалось, видели вас насквозь. Волосы, когда-то тёмные, отступили со лба, и он не прятал этого под париком, как прятали все при дворе: лысина делала его старше, а старость в Аквиларии внушала почтение. Одевался он скромно, в тёмное, избегая всякого блеска. Единственная драгоценность, которую он носил, — перстень с чёрным камнем, на котором не было герба. Но за этой неприметностью скрывался

цепкий ум, железная воля и безжалостность человека, который однажды решил, что жалость — роскошь тех, кто ни за что не отвечает.

Он был мастером интриги. Мастером смертельной игры. Он умел просчитывать положение на несколько ходов вперёд и не гнушался ничем: ни ложью, ни подкупом, ни шантажом, ни убийством.

Именно он, Огюст Монфор, и был отцом Лиги Вольных Игроков. Это было его детище и его инструмент. Он придумал её, написал правила, добился закона. Он был тогда молод, тридцать лет назад, и помнил, как убеждал юного, только что коронованного Этьена: «Ваше Величество, они всё равно убивают друг друга. Дайте им закон — и они будут убивать друг друга по закону. И благодарить вас за это». Этьен рассмеялся и подписал. Так подписывают охотничьи привилегии. И теперь, спустя тридцать лет, Лига стала частью жизни высшего общества Аквиларии. Частью его, Огюста Монфора, власти. Каждая пара, составленная Лигой, проходила через его руки, и никто не знал, сколько раз он составлял их сам.

Граф Плеси мог проклинать свой злой рок сколько угодно. Канцлер знал: граф не подозревает, кто на самом деле стоит за всем этим и кто играет им, как пешкой.

Главный канцлер помнил всё. Помнил два вечера, разделённые тридцатью годами, и оба вечера, если быть честным с самим собой, а он бывал честен с собой ровно настолько, насколько это было полезно, были одним и тем же вечером.

Первый случился, когда Огюст Монфор ещё не был Главным канцлером, а был лишь одним из многих честолюбивых молодых аристократов, пробивающих себе дорогу к власти. Он был молод, горд и одинок. Он жаждал власти, но ещё больше он жаждал любви. Той, о которой пишут в романах и которую так редко встречают в жизни.

И вот однажды, на балу, он увидел её. Девушку без ослепительной красоты, но в ней было что-то. Неуловимое. Что-то, что заставило его сердце биться чаще. Она принадлежала к старинному, но обедневшему роду, и ему показалось, что она его поймёт и должна быть рада знакомству с ним: он тоже был из старинного и небогатого, и он тоже стоял у стены.

Он не помнил, как подошёл к ней, как заговорил. Он помнил лишь её глаза. Большие, тёмно-синие, как небо перед грозой, и грустные. В них было столько одиночества, что ему захотелось защитить её. Укрыть от всего мира.

Он говорил ей банальности и комплименты. Он пытался казаться остроумным. Но она смотрела на него сквозь. Слово его и не было. Слово он был пустым местом.

И вдруг она улыбнулась. Мельком, едва заметно. Но эта улыбка была настоящей. Искренней. И печальной. Как и её глаза.

— Вы очень добры, месье, — сказала она тихим, чуть дрожащим голосом. — Но я не верю в любовь. Я не умею любить.

Эти слова прозвучали как приговор. Не тот вежливый отказ, который он ожидал услышать. Другой. Необратимый.

Он попытался что-то сказать. Но она лишь покачала головой и ушла. Растворилась в толпе.

И он остался один. Наедине со своим бессилием.

Той же зимой она вышла замуж. Он узнал об этом из третьих уст, как узнают о смерти дальнего родственника: некий барон с юга, тихий человек с книгами и трубкой, увёз её в имение, названия которого Огюст Монфор тогда не запомнил, потому что заставил себя не запоминать. Он так и не узнал, что заставило её отказаться от любви, от счастья, от жизни — так он это называл, потому что иначе пришлось бы признать, что она отказалась не от жизни, а от него. Но он запомнил её. Запомнил её глаза, её улыбку, её грусть. И в тот год он придумал Лигу. Он никогда не связывал одно с другим. Он был слишком умён, чтобы связывать.

Второй вечер случился два года назад. Бал во дворце, ничем не примечательный, из тех, что канцлер посещал, потому что отсутствие заметнее присутствия. Он стоял, как обычно,

справа от трона, на полшага позади, и смотрел на зал как смотрят на карту. И увидел графиню Плеси, урождённую Тони, жену графа Плеси, Ловкого Руди, о котором в Лиге говорили с уважением, а при дворе — с усмешкой.

Он узнал её. Не лицом, не внешностью — глазами. Теми самыми, большими, тёмно-синими, грустными глазами. Глазами, полными боли. Он стоял и смотрел, и тридцати лет не было. Была та же стена, тот же бал, та же девушка в том же платье, и его сердце, которое он считал давно и надёжно умершим, ударило один раз так, что он положил руку на перстень, будто проверяя, на месте ли он.

Это не могла быть она. Он умел считать. Женщине, сказавшей ему «я не умею любить», было теперь под пятьдесят. Графине Плеси не было и тридцати. Но глаза были те. Глаза не передаются по наследству, сказал бы любой лекарь. Огюст Монфор не верил лекарям. Он верил тому, что видел.

В тот вечер он сделал то, чего не делал двадцать лет: пригласил женщину на танец. Она отказала, вежливо, сославшись на усталость. Он пригласил во второй раз, через час, и она отказала снова, сославшись на мужа, который вот-вот вернётся из карточной комнаты. Он знал, что муж не вернётся: он сам позаботился, чтобы графа задержали за столом. Он подошёл в третий раз. Это была ошибка, и он знал, что это ошибка, ещё делая первый шаг, и всё же шёл, потому что тридцать лет назад он не подошёл во второй раз, и все эти тридцать лет ему казалось, что именно это и было ошибкой.

Она посмотрела на него теми глазами. И сказала громко, не повышая голоса, но так, что услышал весь угол зала, где стояли Совет, посланники и дамы, которым завтра будет что рассказать:

— Третий раз за вечер, Ваше Превосходительство. В Лиге, я слышала, после третьего отказа приходят без предупреждения. Мы ведь не в Лиге?

Кто-то засмеялся. Кто-то — из тех, кто ненавидел его молча двадцать лет, — засмеялся громче, чем следовало. Он поклонился. Улыбнулся. Сказал что-то безупречное, чего потом не мог вспомнить. И ушёл на своё место, справа от трона, на полшага позади, и простоял там до конца бала с лицом, которое не выражало ничего, потому что за тридцать лет он научился держать лицо как другие держат шпагу.

Она ударила его законом, который он сам написал. Она знала правила Лиги — от мужа, разумеется, от кого же ещё, — и выбрала из них то единственное, что било в него, в создателя, в того, кто написал эти правила своей рукой. Никто в зале не знал, что Лига — его. Она тоже не знала. От этого было только хуже: она попала, не целясь.

На следующий день он навёл справки. Это было нетрудно: у него были люди для справок в каждом имении королевства. Баронесса Тони, мать графини, жива, живёт на юге, тихо, никуда не выезжает. Урождённая... Он прочёл имя рода и отложил бумагу. Он знал это имя. Он тридцать лет заставлял себя его не помнить.

И в нём что-то щёлкнуло. Что-то сломалось. Что-то пробудилось.

Это не было любовью. Не было желанием. Это было нечто более тёмное.

Он отметил это, как отмечают на карте ещё один брод, и вернулся к карте.

Карта была одна и та же тридцать лет: Аквилария. Король, который не казнит и трогает парик; наследник, который прячется в нишах; Совет Двенадцати, в котором семерых он держал долгами, троих — тайнами, а двое были стары и хотели умереть в своих постелях; Синод, Суд, гильдии, посланники, границы, за которыми ждали. Главный канцлер был честолобив. Безмерно, до болезни честолобив. Но честолобие его было размером со страну, а не с бальный зал. Ему было мало быть серым кардиналом, закулисным кукловодом, тем, кто стоит справа от трона на полшага позади. Он хотел сесть на трон, и хотел этого не ради трона: он был единственным человеком в королевстве, который знал, как этой страной управлять, тридцать лет управлял ею через слабого короля и устал от посредника.

Путь был один. Наследник должен умереть. Король, раздавленный горем, убитый смертью единственного сына, не сможет править. Он сломается. Он отречётся. Или умрёт. И Совет проголосует так, как он скажет. Всё остальное — способ, а способов у человека, который тридцать лет составляет пары в чёрной книге, столько, сколько имён в ней.

Лига была создана не для этого. Но и для этого тоже: инструмент, который тридцать лет лежал под рукой и ждал работы по себе. Принца он подвёл к ней сам, одним словом на аллее, и год поливал. Оставалось выбрать охотника.

Охотник нужен был такой, чтобы его знал весь двор, чтобы победа его была правдоподобна, а гибель или изгнание — никому не в убыток. Лучший клинок столицы, три отсрочки, пустая четвёртая графа: граф Плеси в этот момент был просто лучшей партией для принца, и любой, кто составляет пары, вписал бы его. Если граф убьёт принца — его изгонят, приговорят заочно; закон Лиги защитит его от плахи, но не от короля-отца, потерявшего сына: Этьен найдёт способ, а канцлер поможет ему найти. Если принц убьёт графа — графиня останется одна, без денег, без защиты. Оба исхода вели к трону.

И был ещё один довод, о котором он не думал головой. Глаза. Синие, грустные, одни на две женщины, отвергшие его дважды с промежутком в тридцать лет, и вторая — при всех. Это не было планом. Это было причиной выбрать эту дорогу из двух одинаковых: вид с неё был лучше. Второй исход вёл к трону мимо той стены, у которой он стоял тридцать лет назад, и безутешную вдову он сумеет утешить, приласкать, приручить — он умел ждать, он умел добиваться своего. Он позволял себе это, как позволяют себе вино за работой: не ради вина. Малая игра внутри большой, и он никогда не путал, какая из них большая.

Именно поэтому он лично проследит за ходом этой, с позволения сказать, «охоты». Он сам станет наблюдателем. Беспристрастным арбитром. Чтобы всё прошло так, как он задумал.

Дичь не знает имени охотника. Это правило он написал первым, тридцать лет назад, и за тридцать лет не нарушил ни разу: на нём держалась вся Лига. На другую ночь после того, как пара была вписана, он пришёл к королю сам, без доклада, и король принял его в халате, без парика, и это был первый раз за тридцать лет, когда канцлер видел его без парика, и он отметил про себя, что король стар. «Ваше Величество, — сказал он, — охотник вашего сына — граф Плеси. Я нарушаю правило, которое сам написал. Я делаю это один раз и ради вас. Об этом должны знать трое: вы, Его Высочество и я. Больше никто — иначе Лига перестанет быть законом». Король был взволнован. Смертельно напуган. И благодарен: канцлер видел, как он благодарен, и это было то, ради чего он пришёл. Двойников, актёров, потайные покои король приказал назавтра сам и думал, что придумал сам. Главный канцлер успокоил его. Заверил, что всё будет под присмотром. Что он лично, Огюст Монфор, проследит за каждым шагом. Что он не допустит гибели принца.

— Огюст, — сказал король, и голос его был голосом отца, а не монарха, — если с ним что-нибудь... Я не переживу. Ты понимаешь? Я не переживу.

— Понимаю, Ваше Величество, — сказал канцлер. И это была единственная правда, которую он сказал в ту ночь. Он понимал. Он на это рассчитывал.

А что же принц Альберт? Этот молодой, избалованный, самовлюблённый юноша, единственный наследник престола Аквиларии. Почему он согласился на эту смертельную игру? Что толкнуло его в объятия Лиги Вольных Игроков?

Двор считал принца игроком. Азартным, безрассудным, уверенным в своей неуязвимости. Двор видел то, что принц ему показывал. Канцлер видел другое. Он видел тщеславие. Безмерное.

Ему льстило внимание. Льстила слава. Он хотел доказать всем, и себе в первую очередь, что он лучший. Что он достоин престола.

Но была и ещё одна причина. Тайная, известная лишь ему самому. И Главному канцлеру, разумеется. Потому что эту причину Главный канцлер и вложил в него, как вкладывают письмо в чужой конверт.

И вот игра началась. Фигуры расставлены на доске.

Оставалось отправить Рудольфу Плеси приглашение на открытый приём во дворце. Приглашение, от которого невозможно отказаться. Он подпишет его рукой короля: перстнем с королевской печатью он пользовался чаще, чем сам король, и перстень ещё не принесли.

Сеть была расставлена. Жертва должна была попасться.

Он сидел у камина в своём кабинете, и огонь ел полено медленно, с той стороны, где оно было суше, и канцлер смотрел на огонь как смотрел на всё: прикидывая, сколько ещё осталось.

«Игра началась», — подумал про себя Огюст Монфор. Он ещё раз проверил каждую деталь своего плана, как проверяют счёт перед подписью. Победа была близка, осязаема и надёжна, как может быть, когда ты всё делаешь сам, но чужими руками.

Перстень принесли за полночь. Слуга в войлочных туфлях положил его на стол рядом с книгой и вышел, не глядя. Канцлер взял чистый лист, написал четыре строки — приглашение графу Плеси на открытый приём во дворце, — прижал к сургучу королевского льва и подержал, пока сургуч не остыл. Потом закрыл книгу. Потом задул свечу. В темноте он ещё некоторое время сидел, положив ладонь на чёрную кожу, как кладут ладонь на живот, где что-то должно вырасти.

Глава 8. Тень Короля

Принц. Утро приёма

Записку принесли утром, без подписи, на бумаге без герба, и он прочёл её в нише за гобеленом с вепрем, потому что читать такое в своих покоях было нельзя: «Охотник получил приглашение на приём. Ваше Высочество будет в покоях Его Величества. Двойники расставлены. Арбалет — при вас». Арбалет лежал у него на коленях, дворцовой работы, с инкрустацией, тяжёлый, подарок, принесённый третьего дня тем же путём, что и записка. Альберт держал его как держат вещь, которую подарили и не объяснили, и думал о том, как он здесь оказался. Не в нише — в этом.

Имя он знал. Отец сказал ему его ночью, в кабинете, шёпотом, хотя в кабинете никого не было: граф Плеси. И велел молчать: об этом знают трое, наблюдатель нарушил правило ради тебя, помни это. Альберт помнил. Он подумал тогда, что это, наверное, и есть преданность, и не спросил себя, зачем наблюдателю понадобилось, чтобы дичь знала охотника.

Королевский дворец давил своей роскошью. Принц Альберт, наследник аквиларийского престола, ощущал себя здесь неуловимым. Не быстрым, как ртуть, или ловким, как лесная куница (хотя охоту он любил), а скорее солнечным зайчиком, что пляшет по стенам, — ярким, но эфемерным, не имеющим собственной сущности. Здесь, среди мраморных колонн, упиравшихся в самое небо, под гобеленами, чьи герои взирали на него, живого и негероичного, с молчаливым презрением, среди шелеста шелков и мертвенного блеска драгоценностей, здесь он чувствовал себя лишним. Чужим среди своих. Словно тень.

Он знал каждый угол этого дворца, где можно было спрятаться. В детстве он прятался от нянек, потом от учителей, потом от отца. Ниша за гобеленом с охотой на вепря в восточном крыле; чулан под лестницей музыкальной галереи, где пахло канифолью; крыша оранжереи, куда можно было вылезти через слуховое окно и лежать, глядя на облака, пока внизу его искали с фонарями. Он вырос в этих укрытиях. Дворец учил его прятаться раньше, чем учил править.

Аквилария в эпоху правления Этьена XIV напоминала пышно расцветшую розу: алую, как кровь, и усеянную шипами. Страна, окружённая соперниками и врагами, жила в ожидании удара — в спину или под дых. Летом, когда солнце раскаляло воздух, двор искал спасения в загородных резиденциях, у фонтанов и в тенистых аллеях. Зимой, когда ветер рвал и метал, а снег заносил дороги, жизнь замирала у каминов, которые не могли прогнать пробирающийся до костей холод. И балы. Бесконечные балы, на которых все скалили зубы в улыбках, а за каждой улыбкой таился либо кинжал, либо склянка с ядом.

Сам Этьен... При дворе его называли добрым и слабым, и Альберт знал, что при дворе так называют всякого короля, который не казнит. Сын знал другое. Для сына этот старый деспот был воплощением безраздельной власти. Власти, данной, как он сам полагал, Богом. Его слово — закон, слушание каралось немедленно и жестоко. Двор видел его на приёмах, с бокалом и шуткой. Альберт видел его в кабинете, в семь утра, когда король перечитывал донесения с границ и лицо его становилось таким, каким его не видел никто из тех, кто называл его слабым. Любил ли он сына? Кто ж его, этого самодержца, разберёт. Любил, наверное. Как опытный мясник с нежностью относится к откармливаемому на убой телёнку.

Альберт был словно из другого теста. Не из королевского. Словно лунный свет, случайно просочившийся в этот залитый солнцем мир. Он любил охоту, но не ради трофеев, выставленных напоказ, а ради самого леса. Ради запаха прелой листвы, ради тишины, нарушаемой лишь треском сучьев да криком птицы, ради тумана, стелющегося по земле. Он мог часами сидеть на

поваленном дереве, не стреляя, и егеря переглядывались за его спиной и не понимали, а он не объяснял: как объяснить, что ему нравится быть там, где никто не смотрит? Он любил музыку, но не бравурные марши, а ту, от которой сжимается сердце. Чтобы скрипка плакала, а клавесин говорил такое, от чего волосы вставали дыбом. И картины. Не парадные портреты с лицами-масками, а те, где бился о скалы штормовой прибой и молнии прорезали грозное небо.

А политика. Приторные улыбки, многозначительные взгляды, бесконечные доклады, от которых пухла голова. Альберту хотелось одного — сбежать. Он делал над собой усилие, вникал в дела. Но чувствовал себя так, словно запутался в липкой паутине, и чем отчаяннее пытался вырваться, тем безнадежнее увязал.

Этьен видел, что сын не боец. И это его пугало. Он не презирал Альберта — он боялся за него. Боялся, что тот, получив корону, не удержит её и спустит в пропасть всё, что было создано с таким трудом. И Этьен, по-своему любя сына, пытался его выковать заново. Закалить, как сталь. Любыми средствами.

— Твёрже будь, Альберт! — гремел его голос, заставляя дрожать хрустальные подвески на люстрах. — Ты будущий король, дьявол тебя побери! Ты должен, ты обязан быть сильным!

И слова эти не столько ранили, сколько душили, как камень на шее. Альберт чувствовал, что не оправдывает. Что он всегда не такой.

Это была не семейная драма, а трагедия из старых хроник. Этьен, одержимый идеей вылепить из сына свою копию, давил и ломал живую душу. А Альберт, задыхаясь от этой любви, из последних сил пытался соответствовать и ломался ещё больше. Мать смотрела на это молча. Королева умела только это — смотреть молча; за двадцать лет замужества у неё отняли всё остальное, и она отдала, потому что так было спокойнее. Альберт любил её и не мог ей этого простить.

Однажды, гуляя по Дворцовому парку, где каждое дерево было подстрижено, как солдат на плацу, Альберт не выдержал. Он выговорился Огюсту Монфору, Главному канцлеру.

А Монфор был тенью Этьена. Всегда на шаг позади. Умный, скользкий, как уж. Он всё знал и всё видел. И король доверял ему безоговорочно. Альберт же не доверял никому, а канцлеру — меньше всех, и именно поэтому выговорился ему: тому, кому не доверяешь, легче сказать правду, чем тому, кого боишься разочаровать.

— Я не знаю, что мне делать, — прошептал Альберт, и голос его предательски дрогнул. — Я стараюсь. Клянусь, я изо всех сил стараюсь. Но я не такой, как он. И никогда не буду.

Монфор слушал. Молча. А его молчание всегда было тяжелее крика: он словно заглядывал в самый тёмный угол твоей души и видел там всю твою слабость.

— Ваше Высочество, — произнёс он наконец, медленно, словно тщательно подбирая слова, — величие не всегда измеряется силой оружия. И не всегда суровостью приговоров. Иногда величие заключается в том, чтобы уметь удивлять. Всех. И себя прежде всего.

Альберт недоумённо уставился на канцлера, не понимая, к чему тот клонит.

— Но что вы имеете в виду?

Монфор помедлил. Словно решался — открыть ли некую страшную тайну или придержать её при себе. А затем произнёс, понизив голос до шёпота, словно опасаясь, что их могут подслушать даже мраморные статуи:

— Есть один путь. Непростой, скажу сразу. Опасный. Требующий всего тебя, без остатка. Это Лига Вольных Игроков.

Слово это, Лига, прозвучало как удар грома. Альберт, разумеется, слышал о ней. Краем уха. Сплетни, шепотки за спиной, чепуха, которую пересказывают скупающие дамы. Но воспринимать это всерьёз?

Монфор не стал ничего объяснять. Не стал уговаривать. Он просто сказал. Бросил зерно в измученную почву. И пошёл дальше по аллее, заложив руки за спину, как ходят люди, которые ничего не сказали.

А дальше началось это. Медленное, мучительное превращение.

Сначала, конечно, Альберт мысленно послал эту Лигу ко всем чертям. Бред! Он принц! Он не имеет права так рисковать жизнью. Это недостойно. Немыслимо.

Он в очередной раз присутствовал на заседании Королевского совета — в душном, насквозь прокуренном зале, где под потолком лениво кружили мухи. Обсуждался вопрос о войне с... да неважно, с кем именно. Этьен, побагровевший, настаивал на немедленном ударе. Альберт, понимая, что война — это не только фанфары, но и кровь и грязь, попытался робко возразить. Его тихий голос потонул в одобрительном гуле. Двенадцать голов кивнули отцу, не дослушав сына. Канцлер не кивнул. Канцлер смотрел на Альберта, и в этом взгляде не было ни насмешки, ни жалости, а было что-то вроде терпеливого ожидания, как у человека, поставившего капкан и знающего, что зверь придёт. И он остро почувствовал себя никем. Пылью под ногами отца.

После совета Альберт слонялся по дворцу, как неприкаянный, и не мог думать ни о чём, кроме засевавшей занозой мысли о Лиге.

Червь сомнения точил его. Любопытство.

Во время одной из своих любимых конных прогулок Альберт случайно (или неслучайно?) встретил в лесу старого, давно отставного гвардейца. Тот был весь в шрамах, одноглазый, но удивительно живой. О нём ходили легенды: говорили, что он участвовал в самых тайных и опасных делах, что он чуть ли не самого дьявола за бороду дёргал. Разговорившись с ним (Альберт всегда находил общий язык с простыми людьми. Это было единственное, за что отец его хвалил, потому что считал полезным), принц осторожно, издалека начал расспрашивать о Лиге. Старик сначала отмалчивался, смотрел угрюмо. Потом что-то в глазах Альберта его тронуло. И он рассказал. Скупое. Но достаточно. Об испытаниях, от которых сидели за одну ночь. О славе. О той самой славе, которой Альберту так не хватало.

— Только вот что, парень, — сказал старик на прощание, и Альберт, которого никто в жизни не называл «парень», запомнил это лучше всего рассказа. — Оттуда не выходят. Помни. Оттуда только выносят.

Любопытство, как известно, и сгубило кошку. Оно же подтачивало и душу Альберта.

Лига манила его, как запретный плод.

Однажды вечером, во время очередного, бесконечно скучного бала, Альберт заметил группку молодых аристократов. Те стояли в стороне, оживлённо перешёптывались, то и дело опасливо оглядываясь по сторонам. Альберт сразу понял: речь идёт о Лиге. Он подошёл, сделав вид, что случайно услышал обрывок разговора, и включился в беседу. А те, видя, что сам принц проявил интерес, осмелели и начали хвастаться «подвигами», изрядно преувеличенными, и «победами», сомнительными. И Альберт слушал и завидовал. Чёрной, жгучей завистью. Ему тоже хотелось вырваться из золотой клетки и глотнуть настоящего воздуха.

Он начал представлять себе иную жизнь. Без церемоний и фальшивых улыбок. Где всё по-настоящему. Опасно, да. Но по-настоящему.

И началась внутренняя борьба. Страшнее любой внешней войны, потому что злейший враг — это ты сам.

Поздно вечером, оставшись один в своих покоях, Альберт отправился в дворцовую часовню. Там, в полумраке, он встал на колени и начал молиться. Не как его учили, а по-настоящему. Отчаянно. Он просил — о чём? О знаке? О силе? Он вспоминал слова отца: «Ты должен стать сильнее!» Вспоминал старого гвардейца и хвастливые речи молодых аристократов. И разрывался. Между тем, что положено, и тем, что хочется до дрожи в коленях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.